Родина (сборник)

Константин Георгиевич Паустовский

Аннотация
Константин Георгиевич Паустовский. Родина
Рассказы
- Разговор во время ливня
- Капитан-коммунар
- Соус керри
- Концерт в Вардэ
- Три страницы
- Королева голландская
- Записки Василия Седых
- Медные доски
- Три рассказа
- Воздух метро
- Акварельные краски
- Вторая Родина
  - Чтение географических карт
  - Черная вода
  - Трава и ветер
  - Желтый свет
  - Признание
- Рассказ бойца Петренко

Остановка в пустыне
Струна
Нет ли у вас молока?
Утренник
Чужая рукопись
Снегопад
Встреча
Ходоки
Первый туман
Очерки и публицистика
С берегов Куры
Вишни и степь
Где нашли золотое руно
Говорит ТАСС...
Колхозная академия
Онежский завод
В прифронтовом колхозе
Зеленая стража
Первые листья
Могучая речная держава
За красоту родной земли
Прав старый лесничий
Городок на реке
Судьба маленького города
Новая эра
Выходные данные

Аннотация

В сборник «Родина» вошли произведения, которые за малым исключением при жизни Константина Георгиевича Паустовского не помещались в Собрание сочинений писателя. К большому его литературному наследию, пользующемуся у миллионов читателей непреходящей популярностью, это – весомая и интересная добавка. И каждый из публикуемых здесь рассказов и очерков носит на себе отпечаток писательского таланта, особенного почерка, яркого языка, – таланта, видного уже в рассказах, написанных в первые годы революции, и в горячих публицистических выступлениях в печати. Романтика моря в рассказах и очерках о первых годах Советской власти, захватывающий размах строительных будней пятилеток, послевоенный разбег всенародного созидания – все это своеобразная летопись дел и борьбы Советской страны, и во всем – трепетная любовь к Родине, сыновье внимание к ее судьбе.

«Родина – это всё», – говорит К. Паустовский в рассказе «Остановка в пустыне», и этой

мыслью пронизан весь этот сборник.
http://ruslit.traumlibrary.net

Константин Георгиевич Паустовский
Родина

Рассказы

Разговор во время ливня

Это была странная встреча. Ко мне кто-то осторожно постучал. Я прислушался. За разбитым, заклеенным газетой окном гремел по ржавым крышам ночной ливень. На чердаке, визжа, возились крысы. В порту ревел, как гигантский шакал, шведский наливной пароход.

Стук раздался снова, такой же робкий и неуверенный.

— Кто там?

— Я, сэр. Джон Паркер.

Я открыл. Ах да, Джон Паркер. Я вспомнил: с ним я познакомился в союзе моряков. Джон Паркер — американский моряк.

Он вошел, стряхивая с кепи капли дождя. Его промокший красный галстук был завязан австралийским узлом.

Он вошел, и запах сырости, дождя и горького табака в моей комнате сменился тепловатым и пряным запахом рома.

— Мне негде спать, — сказал он и виновато посмотрел на меня и на сырые оттиски своих ботинок-дредноутов на пыльном полу. — В американской миссии на меня смотрят как на

большевика, я не говорю им своего настоящего имени и никогда не скажу. А они требуют, чтобы я показал им документы.

— Ночуйте здесь.

Он снова виновато посмотрел на меня, крепко потряс мою руку, поколебался и вытащил из кармана небольшую бутылку рома.

Гвоздем он ловко вытащил пробку, щелкнул ногтем по глянцевитой физиономии негра на этикетке, — физиономии, обведенной венком золотых ананасов, — и налил мне и себе по полстакана.

— Вот, черный, — сказал он многозначительно, кивнув на скалившего зубы негра.

— Что черный? — спросил я, и ром зажал мне горло горячей спазмой. — Что вы говорите о черных?

На глаза у меня навернулись слезы. Паркер внимательно посмотрел на меня, прислушался к шуму дождя, к глухому ворчанью собаки в пустом коридоре и сказал:

— У черных будет свой Ленин. И они тогда нам покажут, — он ткнул пальцем в свой австралийский галстук, — нам, американцам. Всех судей в штатах мы вываляем в клейстере и перьях.

— Это несчастный народ, — сказал он, по-

молчав, и спокойно выпил свой ром. — Их заражают.

— Как заражают?

— Просто, сэр. Наше правительство сознательно заражает их чахоткой, чтобы они поскорее вымерли. Должно быть, в Америке стало тесно. Их вытравляют так же, как краснокожих. Краснокожие падают, как мухи от ядовитой бумаги. Только на Западе оставили несколько красных племен, чтобы показывать изящным леди. Вы понимаете: леди и джентльмены едут развлечься в Иеллустонский парк, и там им демонстрируют красных. Леди щелкают кодаками и дают их детям шоколад, а вечером на террасах отелей, в плетеных качалках, когда джентльмены кутают их плечи в меха, они небрежно говорят: «Вилли, правда ведь это презабавный народ?»

— Да, это очень забавно! — громко сказал Паркер и ударил кулаком по столу. — Очень, очень забавно, но для одного джентльмена эта забава окончилась довольно плохо.

На чердаке взвизгнула укушенная крыса. Паркер рассеянно прислушался и продолжал:

— Я был тогда около Фриско. Меня выгнали с парохода за грубость. У капитана были розовые дамские уши, и он, видите ли, не мог слышать

настоящих морских слов, сказанных по его адресу. А я — матрос, и матрос не из тех, что возят дачников с покупками из Фриско на острова. Я из Сиатля, привык иметь дело с китобоями и клондайкскими молодцами. В результате, конечно, капитан меня выгнал.

Я ехал поездом в восточные порты, чтобы поступить на пароход. По дороге на одной из станций сидела семья красных и смотрела на поезд. Вы никогда не сможете себе представить, как они смотрят. Они смотрят так, словно все, что происходит вокруг, — прозрачное, смотрят куда-то вдаль и так презрительно, так настороженно, точно боятся, что вот-вот их ударят или подымут на смех.

Из вагона вышла мисс Грэв. Вы, конечно, не знаете Грэва. Это — крупная дичь, он у нас во Фриско был, кажется, мэром. Одним словом, он имел неограниченное право сажать таких молодцов, как я, в исправительный дом.

Вслед за мисс Грэв соскочил на платформу молодой джентльмен с таким гладким пробором, будто его облизала корова.

Мисс Грэв подошла к красным и, брезгливо морщась, поцеловала одного из малышей. Вы понимаете, это был каприз. Насколько я понял,

она хотела выиграть пари. Мать быстро взяла ребенка, а я подошел к мисс и шепнул ей на ухо с притворным ужасом:

— Что вы наделали, мисс! Теперь вы пропали. Она резко и вопросительно взглянула на меня.

— Почему?

— Разве вы не знаете, что они все зараженные! Вытрите рот!

Она засмеялась, а я стал медленно накаливаться, как болт на кузнечном огне.

— Вы не верите, мисс, а я говорю, что эта правда. Их сознательно заражают по тайному желанию правительства. Вы можете подробнее узнать у вашего отца, он достаточно перетравил в жизни этих ребят.

Кончилось это тем, что молодой джентльмен полетел и ударился головой о лакированный синий борт вагона. Послышался сильный треск лопнувшей бумаги, но у него была чертовски крепкая башка, и только со второго раза он потерял свой чудесный галстук и способность сопротивляться.

Дело кончилось тремя месяцами тюрьмы. Меня судили за драку и за распространение невероятных и вредных слухов.

— У этого малого, — сказал вскользь судья, —

чудовищная фантазия.

— Сэр, — ответил я ему, — более чудовищной фантазии, чем у министров Соединенных Штатов, как вам известно, нет ни у кого.

Паркер помолчал. Дождь за окнами лил тяжелыми, грохочущими струями. На море начинался шторм, и прибой тяжело гудел у набережных и шипел по гальке, уползая обратно в море. Шведский пароход замолчал.

В окно были видны лишь глубокий вечный мрак и дождь. Это был неумолимый батумский дождь, выбивавший монотонную дробь по лужам. Я знал, что на рассвете не будет видно гор за стеной дождя и потянет холодом с севера. Спать не хотелось.

— Тогда я был еще мальчишкой, — продолжал Паркер. — Потом я много плавал. Должен вам сказать, что вы в мире не найдете вещей лучше моря. Я видел очень много. Я видел целые букеты островов, словно изящные леди небрежно уронили их с борта пакетбота в густую океанскую воду. Когда вы к ним подходите, воздух пахнет самыми тонкими духами, клянусь матерью. Я видел все это, когда ходил из Фриско в Сидней.

Я видел и южноамериканские порты, белые от солнца, будто их вымазали мелом.

Я ходил в полярное плаванье. Можете поверить, я оглох от тишины полярных полей, у меня все время звенело в ушах, как от лихорадки. Я слеп от желтого незаходящего солнца, бродившего над этими морями.

Вы знаете, я не люблю Нью-Йорка и некоторые ваши континентальные порты. Там тесно, как в кино по воскресеньям, и я перестаю чувствовать себя человеком.

Он перевернул свою руку и посмотрел на коричневую, изъеденную канатами и солью ладонь.

— Но всюду, — добавил он печально, — всюду нашему брату живется тяжело. И под пальмами Рио, и в лондонской слякоти.

Он снова посмотрел на свою ладонь и улыбнулся:

— Да, сэр. Произошла революция у вас. Я, признаться, не придавал ей значения. В России революция, но что из этого может получиться для нас, плавающих по ту сторону света? Разве от этого хоть на йоту станут лучше наши зловонные кубрики? Разве я смогу выпрямить спину и набрать полную грудь свежего воздуха, не чувствуя в душе тяжелого гнева? Разве мы сможем, думал я, как хозяева прийти в жизнь и прожить ее так, чтобы перед смертью не жалеть, что родились, и

не проклинать стариков, давших нам жизнь?

Да, сэр. Я долго не верил этому. Видите ли, я думал, что кто-то принесет мне революцию в кармане, как апельсин, принесет из той страны, где она случилась, из России, вынет и даст, и сейчас же вся жизнь перевернется, мы подымем флаги и завопим от восторга. Так я думал, простите меня. Но в одном из континентальных портов я узнал совсем другое.

— Я был, — он почему-то сказал это шепотом, — я был в портовом бюро. Интернэшэнел-бюро, вы знаете. В Гамбурге. Там я видел некоторых людей и читал газеты, ваши газеты. Мне первое время казалось, что я читаю, а полисмен крепко меня держит за шиворот, но потом это прошло.

Он тихо засмеялся и стал уминать в трубку табак.

— Тогда я понял, что мне революцию и мою судьбу не принесут, как игрушку, в кармане. Я понял, что она, — он показал на свою голову и тугие мускулы под потертой курткой, — вот тут. Я еду во Фриско, и революция едет со мной во Фриско, и мэр Грэв не спит по ночам, потому что ему кажется, что в дырявых тавернах в порту собираются кочегары и матросы-китайцы, и в руках у них блестят не стаканы с виски, а нечто другое, совсем

другое, чем мы когда-нибудь продырявим нашу старуху-Американку, как палубным сверлом.

Он помолчал.

— Я приехал к вам. С двумя долларами я объехал эту необыкновенную страну. Я видел сотни Джонов Паркеров за столами в министерствах, и сотни тех же Джонов приходили к ним с фабрик, верфей и палуб и, смеясь, жали им руки и пачкали сажей бумаги. О, я видел чудесные вещи, сэр, чудесные, непередаваемые вещи.

Я посмотрел на него. Он мельком взглянул на меня и хлопнул ладонью по столу.

— Я еду в Америку, — сказал он, встал и сделал ко мне два шага. — Я еду в Америку. И мы разворошим эту помойную яму. Хватит! Вы думаете, что мы не справимся? Мы, моряки? Хо!

Он замолчал, а ответило море, ударившее в набережную с широким раскатистым гулом.

— Хо! — повторил Паркер. — Оно, — он показал на окно, за которым гудело море, — оно нас выучило, и мы ему не подгадим.

Утром я вышел проводить Паркера. Дождь прошел. В голубом тумане блистали цепи далеких гор. В пустых кофейнях турки, позванивая чашками, перетирали посуду. Вялый ветер едва подымал полотнища флагов.

— Прощайте, — сказал Паркер и сжал до хруста в костях мою руку.

Он пошел к американскому грузовому пароходу, на котором собирался уехать. Солнце горело на его крепкой шее. В море, просверкав парусами, тонула в тумане фелюга, груженная золотыми лимонами.

1925

Капитан-коммунар

Многие утверждают, что племя моряков измельчало. Говорят, что отчаянные шкипера с тяжелыми револьверами в карманах давно уже вымерли и оживают только в воображении людей, читающих романы Стивенсона. Принято думать, что буйный нрав моряков переменился с тех пор, как появились теплоходы.

Это — глубочайшее заблуждение. Я встречал в своей жизни много морских людей. Мне нет надобности рассказывать обо всех знакомых матросах, боцманах и капитанах, чтобы рассеять этот ошибочный взгляд. Достаточно капитана Кравченко — одного из первых капитанов-коммунаров в России, организатора восстания в городе Брисбене в Австралии, журналиста и ярого поклонника Бабеля. Сейчас Кравченко плавает в полярных морях.

Он высок, неуклюже вежлив и никогда не снимает своего шотландского кепи.

Когда он ходит — по его словам, «мотается», — то половицы в комнатах скрипят, как палуба паршивенькой шхуны. Переносица — «мост» — у него разбита ударом бокса, и поэтому нос имеет

несколько странный вид. Он любит хронометры и крепчайшие папиросы, ненавидит «затрушенных» интеллигентов, ливерпульских матросов и британский флаг. Но больше всего в мире он ненавидит ложь и трусость.

Я познакомился с ним осенью 1923 года в дачном поезде между Москвой и Пушкином. В Пушкине мы жили в пустующих дачах. Осень в том году стояла ледяная и горькая, полная запаха гари и старого вина.

По любому поводу, взглянув на первую попавшуюся в глаза вещь — на папиросу, пуговицу, семафор или кепку соседа по вагону, — Кравченко вытаскивал из невероятного багажа своей памяти какой-нибудь редкостный случай и рассказывал его так, что весь вагон слушал, затаив дыхание. Рассказы сыпались из него, как пшено из лопнувшего мешка.

Во время одного из ночных возвращений в Пушкино капитан долго рассматривал работницу в красном платочке, дремавшую в углу вагона, потом спросил ее деревянным голосом:

— Вы рожали?

— Как?

— Детей, говорю, рожали?

— Рожала.

— С болью?

— Да, с болью.

— Напрасно.

Я проснулся от изумления. Свеча отчаянно мигала, умирая в жестяном фонаре. За окнами мчалась назад, ревя гудками, лязгая десятками колес, обезумевшая ночь. Мосты звенели коротко и страшно.

— Вот это — шпарит! — Кравченко расставил покрепче ноги. — А с болью вы рожали, выходит, зря. От дикости. В Австралии не так рожают.

Работница недоверчиво улыбнулась.

— Вы не смейтесь. Это верно. Женщине впрыскивают в кровь особый состав, и она рожает во сне. Поняли? Мышцы сокращаются, ребенок выскакивает, все идет гладко. Ни один мускул не сдает. Этот способ практикуется только в Австралии, и то в виде опыта над арестантками.

Узнал я об этом в брисбенской тюрьме. Меня упекли за организацию восстания, — но об этом мы поговорим особо. В тюрьме я натворил кучу дел. Надзиратель принес ведро кипятку, чтобы я вымыл пол в камере. Я спрашиваю:

— Будьте добры, скажите, что написано над воротами тюрьмы?

Он удивился:

— Брисбенская тюрьма его величества короля Англии.

— Так пускай король сам моет полы в своей тюрьме, — я ему не обязан.

За это меня загнали в карцер. Я схватил дубовую табуретку и с восьми вечера до часу ночи дубасил в дверь изо всей силы. Тюрьмы там гулкие, с чугунными лестницами, — чувствуете, что поднялось. Тарарам, гром, землетрясение. Но терпеливые, черти! Молчали. Когда я сделал передышку, пришел начальник тюрьмы.

— Как дела? — спросил он ласково.

— Благодарю вас, сэр. Вот отдохну малость и начну снова.

Он пожал плечами и ушел. Я колотил с двух часов ночи до семи утра. В семь меня вернули в мою камеру, — пол был начисто вымыт.

— Это не арестант, а дьявол, — говорили сторожа. — Из-за его джаз-банда арестантка номер восемнадцать родила на месяц раньше срока.

— Ребенок жив? — спросил я.

— Жив.

Я написал ей поздравление на клочке конверта и передал в лазарет. «Простите, милая, — писал я, — что из-за меня вам пришлось поторопиться!»

Тогда-то вот я и узнал об этом способе, — она родила во сне здоровую девочку. Я видел ее во дворе при лазарете, меня тоже потащили в лазарет, — я симулировал падучую. Я испортил им много крови.

— Вот! — капитан вытащил из кармана толстую книжку. — Вот описание этого способа. Книга издана в Сиднее. Я перевожу ее на русский, — Наркомздрав издаст, и ваши мученья окончатся.

Капитан стал развивать изумительные перспективы, — новый способ рожать приведет к неслыханному изобилию, республика завоюет весь мир.

— Матери поставят вам памятник на вашей родине в Мариуполе, — сказал я. — Бронзовые пеленки будут обвивать ваш пьедестал лавровым венком. В вашу честь Прокофьев напишет марш грудных детей, — торжественный марш под аккомпанемент сосок. Рыбий жир будет переименован в жир капитана Кравченко.

Работница засмеялась. Проревел гудок. Поезд в облаках пара и дыма подходил к Пушкину.

Каждый день я узнавал новые истории — о знакомстве капитана с Джеком Лондоном, о судебных заговорах в Америке, о морских качествах норвежцев, о кораблекрушениях и австралий-

ском способе произносить революционные речи.

Каждый день я приходил к капитану в его комнату, похожую на ящик от сигар. Капитан любил плакаты пароходных компаний и заклеил ими дощатые стены. Плакаты гипнотизировали белок. Они сидели на сосне против капитанского окна и, вытаращив булавочные глазки, рассматривали черные туши кораблей и желтые величественные маяки. Капал дождь, и виденье экзотических стран застилало беличьи глазки синей пленкой слез и восторга.

По вечерам капитан возился над бесшумным примусом своей конструкции. Все у него было необыкновенно: и примус, и механический пробочник, и самодельный радиоприемник из коробки от папирос, и груды очень толстых книг, казавшихся старинными. Выбор книг говорил об устойчивых склонностях их громоздкого хозяина, — там были лоции, мореходная астрономия, сочинения Ленина, диалектический материализм, Джек Лондон по-английски, много географических карт и Библия — он читал Библию исключительно с целью уличить во лжи поповскую клику.

История капитанских плаваний, сиденья по тюрьмам и религиозных диспутов с патерами

была так сложна, что он и сам не мог привести ее в порядок. Его выгоняли из всех мореходных школ за буйство и «анархизм». Его выгоняли с норвежских шхун за то, что он «менял профили шкиперов», — легендарных шкиперов, кормивших матросов после аврала солониной с червями. Они еще не вымерли, эти дубленые, как кожа, рыжие шкипера. Его выгоняли с сахарных плантаций в Австралии, где он рубил тростник — «сладкие палки», — за то, что он вызывал на бокс надсмотрщиков и сворачивал им челюсть на третьем ударе. Вызывал же он на бокс за каждый пинок ногой «цветному рабочему» — китайцу или русскому.

И, наконец, президент Хьюз — то были годы интервенции — изгнал его из Австралии за организацию «коммунистического восстания» в Брисбене, за протест против формирования отрядов для борьбы с Советской Россией.

Хьюз сказал его жене:

— Вашего мужа, миссис, надлежит повесить. Но Австралия гуманна, и я приказал выслать его в распоряжение представителя истинной русской власти — генерала Деникина.

На деникинскую виселицу его везли через экватор, тропики, океаны, душные и синие, как

тяжелое африканское небо.

Он переменил двенадцать тюрем. В бомбейской тюрьме он потерял зубы от цинги, — его кормили две недели соусом керри — острым, как разбавленная азотная кислота.

В Константинополе, за два часа до отправки в Одессу, он бежал.

Потом он опять попался, сидел в лондонской тюрьме и изображал из себя норвежского кока-идиота. И если бы не «британская дурость», мешавшая следователям допросить его по-норвежски (на этом языке Кравченко знал всего десяток слов), то он бы неизбежно «понюхал веревку, смазанную марсельским мылом».

Кравченко писал стихи и рассказы в морские газеты, Если вы наделены скудной фантазией и любите точность и деловые выкладки, то вы все же поймете, как и о чем мог писать этот человек, игравший в шахматы со смертью и сплевывавший на лакированные туфли президента Хьюза.

Он редактировал в Австралии морскую газету. Он писал в газетах СССР, и я до сих пор помню его рассказы о зеленом от плесени и. дождей Копенгагене, о мрачной жизни парусных шхун, о том, как надлежит поднимать на мачтах красные флаги и брать за горло арматоров-судовладель-

цев, о революции на морях, о блудливых душах пасторов, о трюмах «его величества короля Великобритании», где арестантам говорят «мистер», но кормят их тестом, от которого делается заворот кишок…

Единственной слабостью Кравченко была вера в людей, приносящих несчастье. Таких людей моряки зовут «иовами».

Один такой «иов» плавал с ним, и Кравченко отлично помнил два случая. Один раз «иов» зашел к нему в каюту, и со стены без всякого повода сорвался тяжелый барометр и разбил любимую капитанскую трубку, и другой — когда «иов» подымался по трапу в Перте — с лебедки сорвалось в воду десять мотков сахару. Матросы потом купались у борта, набирали полный рот воды и глупо гоготали, — вода была сладкая. После этого случая «иов» списался с парохода и занялся разведением кроликов, но кролики у него подохли и заразили кроличьей чумой весь округ.

В последний раз капитан видел его в Сиднее. «Иов» стоял под дождем и продавал воздушные детские шары. Дрянная краска стекала от дождя с шаров и капала красными и синими слезами на его морщинистое лицо. Прохожие останавливались и насмешливо разглядывали «иова».

Веру в «иовов» капитан тщательно скрывал. Она не соответствовала его мужеству.

Один только раз я видел, как у Кравченко дрожали руки. Это было 22 января 1924 года, когда в Москве черный траурный дым костров боролся с дымом жестокой стужи, и, расплавленный белым огнем, пылал Колонный зал, где великий капитан принимал последний безмолвный парад.

Только в эти дни задрожали руки у этого человека, который во время страшных штормов сороковых широт небрежно насвистывал на палубе немудрые матросские песенки.

Москва, 1924

Соус керри

Я никогда не ел соус керри, но о нем так много рассказывал этот штурман с ласковым взглядом, что я безошибочно знаю, как его приготовлять и есть.

Штурман был на дурном счету. По некоторым сведениям, он был в свое время буфетчиком на пароходе Австрийского Ллойда. С неопровержимостью было установлено, что однажды рыжий, разгневанный капитан вылил ему на белесый пробор кружку кофе «по-венски». Но об этом штурман умалчивал.

Каждый вечер он приходил ко мне в редакцию морской газеты «Маяк» и под немолчное гудение примуса заводил бесконечные рассказы. Примус гудел в редакции, но в этом не было ничего особенного. Редакция помещалась в моей комнате, а комната — в общежитии батумских моряков.

Общежитие было веселое. С восхода солнца до глубокой ночи пел, выл и издевался над жильцами граммофон начальника порта. Это был старательный, срывавшийся на верхах граммофон со скудным репертуаром. Бойчее всего он высвистывал «Пупсика». Когда же бывал в

ударе, то казалось, что на пристань мчится опоздавший пассажир, испуская вопли отчаяния и предсмертно хрипя. Слышался рев гудков, треск ломающихся сходень и свист пара, перегретого в пароходных котлах. Словом, это была целая симфония морских звуков. Очевидно, поэтому граммофон терпели и, временами, даже ценили. Он вовремя всех будил, а в январские вечера создавал столь нужный в одиночестве шум.

Иногда по ночам он испускал трагический хохот, и спавший в коридоре боцман Миша вскакивал и кричал спросонок водочным голосом:

— Нет на тебя хорошей холеры, старая сволочь! Нет никакого спокою морскому человеку!

А злой, пользовавшийся печальной известностью пес Моряк переставал гонять по коридору крыс и выл. Выл осторожно, не понятый никем, вспоминая своего первого хозяина — английского капитана и нестерпимо яркую луну над бамбуковым лесом в Малабаре, где он родился.

Да, я ведь рассказывал о соусе керри. По словам штурмана, он приготовляется так: берутся бобы, перец, трава керри (можно выменять на сухумский табак у английских матросов), лимон, сметана и еще много хороших вещей. Вы все это смешиваете и едите.

Но не в этом дело. Дело в том, что редакция «Маяка» — это был некий соус керри, пестрая и веселая человеческая мешанина, приправленная солеными морскими словечками, греческим акцентом, невероятными рассказами и детской веселостью сотрудников. По этой веселой простоте вы сразу отличите моряка в любой толпе.

Штурману-буфетчику, прозванному «Соусом керри», не давала покоя слава боцмана Чубирова. Боцман поразил все побережье, начиная от выутюженного капитана порта Георгелиани и кончая пьяненьким и избиваемым женой кочегаром Степой с парохода «Камо». Степа и боцман Миша распространяли по Батуму, по цветистым и тесным переулкам запах водки марки «Рухадзе». Это была их основная профессия.

Боцман Чубиров за свой счет издал книгу. Само по себе это было событие, хотя штурман-буфетчик и нашел в книге (в 12 страниц) 173 корректурных ошибки, 28 нелепостей и 10 грубейших погрешностей против русского языка.

Объяснялось это тем, что Чубиров был толст, стар и неграмотен, как лошадь. Помимо всего, он был загадочной национальности. По его словам, мать его была итальянка, а отец — обрусевший армянин. По словам же авторитетного начальни-

ка порта, он был тифлисский кинто с Авлабара.

После выхода книги тайна разъяснилась. Все узнали, почему Чубиров три недели хитро подмигивал своим желтым глазом и перестал играть в домино в «Бедном Мише». Он безвыходно сидел в типографии Малевича, где, кроме визитных карточек и приказов по милиции, ничего не печаталось. Он сидел в типографии и рожал в табачном дыму свою «Звезду».

Рассказ был необычен. В нем говорилось (с соблюдением марксистского подхода) о некоем моряке с жуткими глазами. При виде его женщины впадали в глубокий обморок, капитаны немели, а матросы переставали ругаться на всех доступных им языках.

История этого моряка, изложенная на двенадцати страницах цветистым цицеро, была трагична. Весь удар книги был сжат, как в кулаке, в главе, где моряк произносит на банкете американских судовых королей речь о красных путеводных звездах революции. Женщины бросают ему цветы (олеандры), а пароходные компании наперебой зовут его к себе капитаном. Кончается вся история тем, что моряк неожиданно гибнет в неизвестном и не отмеченном на картах тропическом море.

Но еще более необыкновенным было распространение этой книги. Она разошлась сразу. Самый экзотический, пахнущий пудрой и дешевыми тропиками роман Бенуа не видел такого стремительного успеха. Чубиров недаром подмигивал в свою серую щетину табачным глазом. Он зашел к своему приятелю — кассиру порта (завсегдатаю «Зеленой кефали») — и сказал во всеуслышанье:

— Слушай, кацо. Вот тебе тысяча книг. Спрячь, а когда будешь платить жалованье, дай каждому книгу и вычти десять тысяч грузбонами. Понял?

И кацо понял. Все было сделано быстро и просто. Двадцатого все читали рассказ о необыкновенном моряке, и порт заволновался. Чубиров сиял, как вычищенный компас, как вымазанный маслом кочегар. А Костя-метранпаж, верставший эту книгу, при встрече с моряками хлопал себя по бедрам, хохотал и кричал:

— Это же настоящее кабаре! Писа-атель. Жлоб одесский, хабарник. Одно слово — кабаре!

Этот самый Чубиров был, должен сознаться, сотрудником «Маяка». Ответственный редактор, весьма веселый и легкомысленный человек, Дирк позвал к себе Чубирова и, допив десятый стакан какао («пейте все какао, 1200 калорий в

день!») сказал:

— Вот что, старик, довольно играть в кошки-мышки. Вылетай из моей газеты, пока не выгнали. Спекулянт.

На том литературная карьера боцмана Чубирова и закончилась.

1925

Концерт в Вардэ

Старики дружно сплюнули и засопели трубками. И было от чего сплевывать. Происходило непонятное.

Даже пройдоха Блют, три раза плававший в Нью-Йорк и знавший столько же необыкновенных историй, сколько было карт в его подозрительной колоде, не видел ничего подобного. Даже старый пес Блют, который был у консула на дурном счету.

Хотя он клялся гробовой крышкой, что видел самого Ленина так же близко, как «Слюнявую треску» — начальника порта Торсена. Торсен до сих пор кичится тем, что он первый и без всякой охраны поднялся на палубу русского парохода с красным флагом.

— Я видел Ленина так же близко, как «Слюнявую треску», — кричал Блют на всех перекрестках. — Пусть акулы схватят понос от моего мяса, если я вру.

Да, так старики сплюнули, разглядывая на заборах мокрые афиши о сегодняшнем концерте.

На афишах было написано непонятное:

«Вечером в Морском доме команды учебных

судов Союза Советских Социалистических Республик „Тюлень“ и „Гагара“ устраивают концерт в пользу германских рабочих, пострадавших от оккупации Рура. Приглашается все население города Вардэ».

Трубки усиленно и задумчиво сопели: ну-ну…

У хромого Твида от изумления и страха отстегнулась нижняя челюсть, и он не мог застегнуть ее до самого начала концерта, чем не преминули воспользоваться остряки с «Христиании». Отпетый народ, который годится только на то, чтобы возить дрянной шпицбергенский уголь и вонючий тюлений жир.

С четырех часов дня единственный в Вардэ полицейский, прозванный «Беременной акулой», уже стоял на посту у морского дома, сердито надув щеки, и мальчишки дергали его за фалды кургузого мундира и прятались за соседними углами, испуская ликующие и воинственные клики.

Начиналось то, чего боялись консул Свен и пастор Иогансен, страдающий ниспосланной богом подагрой и от тщедушной и сварливой жены, так же ниспосланной от господа бога.

Даже когда вся селедка от шотландских берегов привалила к берегу Вардэ (старики еще помнят это золотое времечко), в городе не было такого

волнения, плохо скрытого за оконными занавесками.

На потной лысине аптекаря сверкало янтарное северное солнце. Все девушки Вардэ требовали — и непременно скорей — помаду для губ и дешевую пудру. Приятель аптекаря дряхлый капитан Бриг — «Тухлая пробка» — не смог окончить из-за этих вертлявых девчонок свой классический рассказ о гонке чайных клиперов в 1886 году. Тогда его «Типпинг» пришел из Фу-Чоу в Лондон на десять минут раньше «Ариеля», утерев капитану Мак-Ки-нону его угреватый нос.

В этом рассказе была одна незначительная подробность, которую знало наизусть все Вардэ, даже самые неспособные, выгнанные из школы, мальчишки.

Когда «Типпинг» перегнал «Ариеля», он вежливо спросил его сигналами: «Ну, как вам нравится наша корма?» — на что «Ариель» столь же вежливо ответил: «Ничего, она похожа на китайскую прачечную». На корме «Типпинга» матросы как раз сушили белье.

Рассказывая это, Бриг повизгивал от хохота и хлопал ладонью по зеркальным прилавкам, и под ними прыгали тюбики с губной помадой; но сегодня он не доплыл в своем рассказе до

этого разительного места. Ему пришлось, как он бормотал, слишком часто «отдавать якорь», так как аптекарь бегал от полки к полке и не мог его внимательно слушать.

По каменным тротуарам пробегали деревянные сабо, хлопали двери, ветер трепал ситцевые юбки рыбачек, из окон несся чад утюгов, и сияли ярко-вычищенной медью заботливые лица машин. Потрескивали крахмальные чепчики, старики поспешно скребли бритвами проволочные баки, а не привыкшие к столь неприятным звукам кошки обидчиво садились к ним спиной, откинув в стороны хвосты.

Мальчишки оставили в покое «Беременную акулу» и вертелись кипящими толпами около русских пароходов. По команде пьяного Блюта (когда только человек успевает напиться!) они кричали непонятные, но веселившие русских слова:

— Даешь революцию!

Юнги с «Христианин» и китобойных судов что-то явственно затевали и шушукались. Начальник порта Торсен самолично, сняв пиджак, поднял над своим домом новенький флаг. Редактор коммунистической газеты «Фальксгаат» хохотал у себя в редакции так невежливо и нахально,

что фру пасторша принуждена была задернуть оконные занавески. Редактор либеральной газеты поминутно смотрел на остановившиеся в половине второго часы и громко и обиженно сморкался.

Было ясно, что власть короля Гакона V была поколеблена в своих основах.

К шести часам все улицы наполнились тяжелым грохотом подкованных моржовых сапог, женским смехом и характерным звуком плевков.

Толпа валила к Морскому дому, мальчишки мчались туда же по мостовой, а пройдоха Блют, уже проспавшийся (когда только человек успевает проспаться!) кричал, что он чувствует себя великолепно.

Ветер с океана задувал зеленые язычки фонарей, и консулу Свену казалось, что весь город подмигивает ему зло и нахально подслеповатыми окнами.

— «Тухлая пробка» тоже поплыла под руку с аптекаршей на этот концерт, — сказал он раздраженно жене. — И даже этот дважды идиот Твид разронял свои слюни по всему портовому спуску. Какого черта я им дал разрешение. Город взбесился, а молокососы потащили под пиджаками

красные флаги. Я видел у Берга, Симоне Педерсена. А этот беременный дурак, эта слепая лошадь топчется, как в стойле, и ничего не видит.

В театре густо пахло табаком, дешевыми духами и палеными чепчиками.

К началу концерта электричество горело беспомощно и мутно и с потолка капали, вызывая смятение в разных концах зала, увесистые капли росы. Зрители взволнованно сморкались в клетчатые платки, вздыхали и ждали. В начале концерта царила молитвенная тишина, но после русских песен кашель и сморканье начались снова.

Потом мальчишка Педерсен (сын конопатчика Педерсена) встал и сказал речь. Настоящую речь, как в стортинге во время обсуждения налога с рыболовных судов.

— Есть такие страны, — сказал он, — где уже семь лет нет ни королей, ни консулов, ни «Беременных акул». (Смех и крепкие плевки.) Сами рабочие и матросы взяли в свои руки шкот, чисто вымыли палубу от «Слюнявой трески» (смех), попросили убраться всех пасторов и арматоров. Никто им больше не морочит голову сказками о злом длиннобородом боге. («Ого! Вот так мальчишка!»)

— Не боясь хозяйских окриков, только для самих себя… («И для нас», — крикнул Симон)… и для нас, — повторил Педерсон и толкнул Симона ногой, — они создают невиданное в этом мире нужды и притеснений государство.

— А у нас? Я спрашиваю тебя, старый Твид, — не пугайся — я спрашиваю тебя, где ты похоронил свои силы? Ведь ты был лучшим силачом в Вардэ (он свернул челюсть французу с «Бель Ами»). Верно. Я это помню. Ты погубил себя на китобое, все это знают. На китобое консула Свена, у которого уже не застегивается жилет. (Крики: «Лопнули от жира штаны», шум, смех, «Беременная акула» усиленно топчется и потеет.)

— Консул Свен выстроил, Твиди, светлый дом из лакированного дерева, чтобы плодить в нем будущих консулов Свенов. (Шум, крики: «Этого не будет!» — «Какие вы знаете средства против этого?» — «Пожалейте женщин».)

— Кто выходит в зимние штормы к Шпицбергену? Мы. У кого не сходит с рук опухоль от простуды? У нас, не у барышень из Бергена. Чьи дети ждут до вечера тарелки жидкой овсянки и плачут в мамин подол? Но консулов, не пасторов и не судовладельца Гильберта. Не их, а наши. (В зале нарастает шум, мужчины шаркают сапога-

ми, женщины плачут.)

— Нечего киснуть. Берите пример с них, с русских. «Беременная акула» робко поднял руку и кашлянул.

Дощатый зал заколебался от криков. Стулья трещали. Задние напирали на передних. Блют махал засаленной шляпой, по его желтым щекам ползли грязные слезы.

— Видит бог, ничего подобного я еще не встречал, — бормотал он растерянно.

Капитан Бриг визгливо кричал, колотя трубкой о спинку стула, что на своем «Типпинге» он не хотел бы лучших матросов, чем русские, и даже не желает вступать с кем-либо в споры по этому поводу. У аптекаря вспотел жилет, а «Беременная акула», защипанный до обморока дрянными мальчишками, перебирал ногами и беспомощно кряхтел.

Педерсен развернул красный флаг (кто-то ахнул), положил его на стол и сделал знак рукой. Все встали и сняли шапки.

— Томас Руп, родом из Вардэ, — медленно и торжественно, выполняя старинный морской обычай, стал читать по списку Педерсен. — Матрос с парусника «Габриэлла». Упал в трюм и разбился насмерть во время погрузки в Бремене.

Работал на арматора Свена. Осталась вдова и двое детей.

Молчание не нарушилось.

— Сигурд Ольсен, родом из Вардэ, рулевой с «Нидерланда». Умер от желтой лихорадки в порту Массова. Работал на компанию Нордзее. Осталась старуха мать.

Он читал одно имя за другим, и, как похоронный звон, тяжело гудел у берега океан.

В углу тихо и скрипуче заплакала женщина.

— Вдова Руна, — сказал схваченный спазмой, хриплый голос.

Тогда встал русский с «Гагары» и, покраснев, медленно подошел к столу и неловко положил на стол пачку крон.

— Вы не обижайтесь, братишки, — сказал он, немилосердно комкая снятую фуражку, — что мы не можем оказать большую помощь. Наша страна еще, конечно, в общем и целом не возродилась. Ясно, что мы потуже подтягиваем пояса и очень мало оттого получаем. Положение, можно сказать, еще незавидное, но зато никакой прохвост как таковой не может даже и подумать, чтобы в нашей, к примеру, рабочей стране арматоры или как их там и вообще всякая сволочь могли проделывать такие штучки над женами и детьми

матросов.

Он замолчал и смущенно махнул рукой.

Как ни бесновался в этот час океан, но его рев не мог заглушить рева зрительного зала, не понявшего слов, но понявшего жесты и блеск глаз. Все пошло вверх дном. Сначала долго кричали и сморкались. Потом под хлопанье железных рук и свист мальчишек на сцене начались матросские танцы.

Стулья отлетели к стенам, и весь зал качался и скрипел, как шхуна в полный ветер. Зал кружился пестрой, невиданной и трескучей каруселью.

Царило веселье, небывалое в Вардэ. Твид и Бриг притопывали в такт тюленьими лапами, затягивая старинную песню о черном австралийском фрегате. Высокие сероглазые русские дробно отбивали чечетку и плясовую.

Даже пройдоха Блют, лихо отщелкивая джигу, выкрикивал невнятные слова, молодцы с «Христиании» показали пораженным зрителям свой боевой помер — танец с финскими ножами. Хромой скрипач Тик надрывался от старания, вывизгивая бешеные мотивы, и старики из задних рядов орали ему:

— Не дрейфуй, Тик, ставь все паруса.

— И-и-и, эх, — крикнул внезапно появившийся

в толпе «Слюнявая треска», начальник порта Торсен, и швырнул в угол фуражку с золотым галуном. — Что? Разве я не ходил с вами, ребята, на Ньюфаундленские банки? Пошел все наверх, вали на мою голову. Жарь, Тик, старина, пока не лопнули струны.

И, подхватив дочку Твида с наивными васильковыми глазами, он пустился в пляс, изредка бодро покрикивая:

— Прибавь ходу, Тик, не уваливайся под ветер.

Аптекарша взвизгнула и упала в обморок. Было ясно, что в Вардэ началась революция и власть стортинга и короля бесповоротно свергнута взбунтовавшимся народом.

А через час консул Свен внезапно перестал храпеть и сел на кровати. С улицы доносился хор молодых голосов:

Консул Свен, старый черт, все ворчит
И ругает несчастную фру,
Что молчит и сопит, точно кит,
И не может заштопать дыру.
На штанах
Голубых
В галунах

Золотых.
Ио хо, ио хо, ио хо.
vНа штанах в галунах
Ио хо, ио хо, ио хо.
Королевский подарок богатый
Из английской матерьи с заплатой.

«Тюлень» и «Гагара» ушли. Но еще долго бурлило Вардэ, как кипяток на остывающей плите. Либеральная газета взывала к спокойствию и забвению «горестного и преступного» дня, когда невинный концерт внес смятение и поколебал умы мирных граждан. «Фольксгаат» делал едкие замечания, весьма неприятные для консула Свена, а мальчишки еще долго свистели в два пальца и кричали:

— Даешь революцию!

Вардэ затих. Но зимой в тишине ночей, иллюминированных синими огнями сияний, у девушек долго сверкали глаза темным блеском, и плакала сама не зная от чего — от радости ли, от печали — вдова матроса Свена Руна, Христина Руп, глядя в угрюмую муть полярной ночи. Был слышен только лай лапландских собак и затихающий за черными мысами гул Ледовитого океана.

Вардэ затих и ждал тех дней, когда за восточным мысом заалеет, предвещающий близкую и теплую весну, первый янтарный рассвет.

1925

Три страницы

Дни тянутся привычно. Они похожи один на другой, ничто не случается, и только листки календаря показывают разные числа.

В такие дни начинаешь ненавидеть часы и календарь. Они зло отсчитывают время, бесшумно уходят в пустоту. Жажда нового, смятений, смеха, сверкающих городов, жестоких драм и пленительных, опасных историй бессильно грызет сердце, как беззубый пес грызет обглоданную кость.

Был темный день, и море билось у набережной, слизывая красные мандариновые корки. Выпал тонкий снег, палубы пароходов хрустели под тяжелыми сапогами, от снега пахло хвоей, и окна кофеен запотели от душистого пара.

В этот день в мои руки попала рукопись — тетрадь в клеенчатом переплете, исписанная ровным почерком синими липкими чернилами. Много страниц было вырвано. Осталось только три. Вот их содержание.

СТРАНИЦА ПЕРВАЯ

...Мы вышли с ним из Морского корпуса. Помню, была зима, холодный день, и от жестокого мороза стлался по Невскому не то туман, не то дым. Солнце уже садилось, и окна дворцов пылали. Извозчики гнались за нами, звеня бубенцами, и кричали:

— Кадетики, подвезем! Прокатим, ваше благородие! Мы прошли на Зимнюю канавку — его любимое место.

Нева была в снегу, небо низко висело над Петербургом, наши башлыки заиндевели.

— Миша, — сказал он мне и взял меня за рукав шинели. — Миша, об этом месте писал Пушкин в «Пиковой даме», ты помнишь?

Я промолчал.

— Убил его царь, — сказал он снова, нервное лицо его задрожало. — Разве могла засеченная шпицрутенами чугунная Россия, не страна, а сплошная жандармская казарма, сберечь его, да и нужно ли ей было его беречь?

— Ты любишь крайности, — ответил я. — Убил его Дантес, а царь сам плакал, когда ему доложили о смерти Пушкина.

— То-то он и приказал вывезти его тело тайком

из столицы. Не верь дурацким басням. Ты знаешь, что царь сказал, когда ему доложили о смерти Лермонтова?

— Нет.

— Царь сказал: «Собаке — собачья смерть».

Он произнес эти слова так, точно ударил меня нагайкой.

— Ты — опасный человек, — сказал я. — Плохой из тебя выйдет морской офицер.

— Смотря для кого. А ты человек без стержня. Ты мягок, как женщина, податлив и боишься гнева. Миша, это опасная черта. Ты невольно сможешь стать предателем.

Мы вышли к Неве. Мосты горели торжественными дугами огней над невским черным льдом, и жгучая боль залила мое сердце. Он знал меня лучше, чем я сам.

А теперь, небритый, измученный вечной боязнью, в этой стране, столь далекой от Петербурга, я вспоминаю ту зиму, бронзовых коней, взнесенных над Аничковым мостом, зеленоватый свет ночи за полукруглыми окнами дортуаров, его черные судорожные брови, сухую руку, которую он клал мне на плечо, когда мы вместе зубрили мореходную астрономию.

Лучше бы не было этой встречи…

Страница вторая

…Адмирал процедил сквозь зубы:

— Вы колеблетесь?

Я молчал. Шея его стала медной от гнева.

— Отказ выполнить приказание равносилен открытому вооруженному бунту! — крикнул он, и голос его задребезжал.

На глаза у него наплывала пленка, как у зарезанных кур. Мне почудился запах гнилой курятины. Я задрожал. Под сердцем стало холодно.

— Слушаюсь, — сказал я, повернулся и вышел.

Я должен его расстрелять. Государь торопит казнь.

Его имя — имя лейтенанта Шмидта — стало святым в России. Давно ли я сам клялся на севастопольском кладбище, после его речи, весь мозг свой и всю кровь свою отдать за освобождение страны. Я крикнул «клянусь», а какой-то старик обернулся ко мне и насмешливо сказал:

— Надолго ли, лейтенант? Погоны бы раньше сняли!

Так всю жизнь меня преследуют людское недоверие и взгляды с опаской, и я стал бояться самого себя. Ибо узнал, что нет того, на что человек не

пойдет, ежели он «без стержня». Волнение мое на кладбище окончилось пьянством, а того, кому я клялся, — трибуна народного, захваченного в плен, полного высшего благородства, друга моего с юношеских лет, — я из трусости согласился расстрелять.

Рассвет был туманный, мутный, злой. Густой туман, мрачность легли на берега.

Я помню, как мы выгружали на остров казачью сотню.

Она должна была пройти над его телом и утрамбовать землю, чтобы не было видно даже того места, где был зарыт поднявший руку на царя и дерзко объявивший себя командующим Черноморским флотом.

Его поставили и матросов… Я стоял со взводом, опустив глаза, боясь взглянуть, втайне надеясь, что в сумраке он меня не узнает.

Но он меня узнал.

Громко и просто он сказал в необычайной тишине:

— Миша, скажи своим людям, чтобы они целили вернее.

Я поднял голову, и наши взгляды встретились. Он… улыбался. Улыбался, как в корпусе, спокойно и насмешливо. Лицо его было бледно. Предутрен-

ний ветер шевелил густые волосы.

— Хоть раз в жизни не трусь и не тяни, — снова сказал он громко и отчетливо.

Затылки у матросов дрожали и приклады судорожно постукивали о землю.

Я махнул рукой и отвернулся. Защелкали вразброд вороватые выстрелы, и я слышал, как он упал.

А эти подлецы, что били его по лицу после плена, чем они лучше меня? Почему же они делают вид, что не замечают меня и отказываются подавать мне руку!

Страница третья

«Собаке — собачья смерть».

Я стал стар, и чем старее, тем все более цепляюсь за жизнь, боюсь умереть, точно мне не надлежит умереть, а быть, в свою очередь, казненным.

Пришла революция. На второй день я встретил бывшего баталера Наливайко, который был тогда во взводе. Я сказал ему: «Иди к народным властям, скажи, что видел меня и укажи адрес. Тебе ничего не будет, ты матрос, а мне пора. Прятаться хуже».

— Найдут в свое время, ваше высокородие, —

ответил Наливайко и зло засмеялся. — Вам и нам не уйти! Какого человека убили!

Что говорить! Как пережил я те дни, когда тело его привезли из Одессы и хоронили у нас, в Севастополе, когда эскадра салютовала, играя красными флагами, траурно гремели оркестры и плакали женщины. Как пережил — не знаю.

Как потом я скитался, пряча свое звание, но не меняя фамилии, ибо был уверен, что мне не уйти, Теперь я живу на маяке и жду.

На этом рукопись оборвалась. Через месяц я прочитал в газетах телеграмму:

«Приговорен к расстрелу капитан царского флота С., руководивший казнью лейтенанта Шмидта. В последнее время С. был смотрителем маяка в одном из южных портов. Он учился вместе со Шмидтом в Морском корпусе и даже был его другом. Приговор приведен в исполнение».

Москва, 1924

Королева голландская

— Я жалею, что научился читать!

Я оглянулся, чтобы посмотреть на того, кто сказал эти идиотские слова. Было накурено до синевы, капли торопливо бежали по стеклам. Промокшая до последней нитки ночь скучно шумела дождем по высоким кровлям. Таковы пасхальные ночи в Голландии.

Серый день сменился сизым вечером, сизый вечер перешел в моросящую ночь.

Мне, иностранцу, достались в удел матросские таверны, где я мог сколько угодно рассуждать о ценах на водку, улове сардинок и непривлекательной женственности королевы Вильгельмины.

Мне, иностранцу, Голландия казалась старинным деревянным сундуком, пахнущим лаком, полным заманчивых богатств. Синий японский шелк, тяжелые фарфоровые чашки с красными цветами, сладкое какао, кофе, богатства многих заморских стран были сложены в пузатые комоды и пахли стариной.

Эти размышления о Голландии клонили ко сну, как пахучий пар из никелевого кофейника.

Я уснул бы за столиком, если бы не этот нелепый и варварский возглас:

— Да, я жалею, что научился читать.

Говорил матрос в мокрой кепке. Он размешивал пальцем соль в стакане пива, железная серьга одиноко висела над его острой скулой.

— Если бы я не умел читать, — сказал он и глотнул соленое пиво, — если бы я не умел читать, я бы умер спокойно. Ганс, как ты думаешь? А теперь я должен жалеть такого чудака, как ты.

Ганс — инвалид с деревянной ногой — виновато моргнул.

— Начнем по порядку, — сказал матрос и щелкнул пальцем по стакану. — Наша старая посудина пришла вчера с Явы; мы привезли кофе и сахар. На Яве ты потерял ногу, Ганс, когда был солдатом. Так вот, мне встретился один яванец. Он чистил белые туфли на улице в Сурабайе. Он рассказал мне о великом господине, о великом белом голландце. Я просидел у этого чистильщика туфель всю ночь и вышел утром, когда всходило солнце. Платье мое сразу стало мокрым от росы. Вахтенный удивился, что я не пьян.

К рассказчику стали подсаживаться матросы. Подсел и хозяин кабака — рыхлый человек с баками цвета сухой веревки, больной и молчаливый.

Подсел и я. Подсел даже загулявший штурман с золотым галуном на кепке.

— Один только голландец, — сказал мне чистильщик туфель, — один только белый не оказался собакой. Это был святой человек, имя его знают все яванские дети, имя Эдуарда Деккера, резидента южной провинции. Король его уморил голодом, его молоденькая жена сошла с ума. Он приехал на Яву молодым. Он увидел, как надсмотрщики секут бичами женщин, узнал, как правительство плодит нищету, отбирает у яванцев весь урожай, узнал, что каждая крупица риса полита черной яванской кровью. Он изучил наши прекрасные способы выкачивания из колоний всех соков.

Он стал на сторону яванцев. Он отменил своей властью налоги и преступные законы. Он потребовал от парламента и вице-короля немедленного прекращения зверств. Он кричал о них всюду, называл подлостью и неучтиво указывал пальцем на первого подлеца на острове — вице-короля.

Слава о нем прошла по всей Яве. По ночам к его дому собирались яванцы и приносили сотни жалоб. Крестьяне приходили с гор, из других резиденций, приносили слезы обиды и уносили

слезы облегчения. Он судил и жестоко наказывал полицейских и надсмотрщиков за каждый удар яванцу, урезал доходы купцов, выгонял взяточников.

— В моей резиденции яванцы неприкосновенные для грязных лап правительства, — сказал он вице-королю и вышел из его кабинета, зная, что его ждут суд и каторга.

Он был немедленно отставлен. Правительство приказало срочно выслать его с острова, но было уже поздно. Он вернулся в свою резиденцию, созвал старшин и сказал им:

— Если хотите жить свободно и прекрасно, если хотите, чтобы вас не секли и ваша земля принадлежала снова вам, — гоните голландцев. Только пуля может убить голландскую жадность. Призывайте всех к восстанию, вооружайтесь! Я с вами. Правительство уже ищет меня с ищейками, я больше не резидент.

Он поднял бунт, яванцы дрались две недели, они бросались с кривыми ножами на винчестеры голландских солдат. Кофейные плантации напитались кровью, пули сверлили пальмы, и деревни, подожженные солдатами, горели, как сотни свечей. Тогда ты и потерял свою ногу, Ганс.

Деревянная нога Ганса выбивала на полу частую дробь.

— Восстание подавили. Деккер бежал в Европу и стал писателем. Он писал под именем Мультатули. Я читал его книги. В них он проклинал Голландию — страну разбойников. Он требовал свободы для яванцев и открыто писал, чем пахнут золотые гульдены торговцев кофе. Он издевался над богом.

В ответ правительство скупило все его рукописи через частного издателя и сожгло их. Он умер в Амстердаме, «Помилованный» покойным королем, умер от голода и нищеты, прокляв пасторов, торгашей и парламент. Перед смертью он написал жене письмо и отправил его без марки. Вот оно, это письмо.

Мы сдвинули стулья. Он достал из кармана тонкую книжку, бережно открыл ее и, держа далеко от глаз на вытянутой руке, прочел:

«Не плачь. Мы так одиноки в этом мире. Человеческая злоба задушила меня, как грудная жаба. Я думаю о тебе, о смерти дочки, и тоска разрывает мое сердце. Так трудно остаться одной, но ведь должны же когда-нибудь перестать мучить людей и обкрадывать нищих».

— Когда я прочел все, что написал вот этот

человек, — сказал матрос и спрятал книгу, — я пожалел, что меня научили читать!

— Почему? — спросил хозяин.

— Потому, что ты дурак, — вот почему. Почему? — крикнул он и положил кулаки на стол. — Да потому, что теперь я накачался человеческим горем по горло! Да потому, что все надо перевернуть сейчас же, а оно еще стоит, и мы распускаем слюни в кабаках. Хватит!

Кабак гудел. Дождь прошел. В открытую дверь врывался запах пароходного дыма. Далеко в церквах зазвонили колокола.

— Королева Вильгельмина поехала молиться, — сказал хозяин и посмотрел в окно. — Пасхальная ночь.

— К свиньям королеву! — крикнул из-за стойки пьяный кочегар. — К свиньям старую хрычовку! Зачем ты заговорил о королевах? Они нам не родня.

Я вспомнил королеву Вильгельмину — набожную каргу. Я видел ее на пароходе. Шел дождь, солдаты стояли в грязи и воде, королева шла по специально выстроенным для нее мосткам, подобрав тяжелые юбки и поджав сухие губы. Она смотрела на солдат пустыми глазами мертвеца.

Я вспомнил рассказы о богатстве этой жен-

щины, о скаредности, ставшей анекдотом, о чистеньком дворце, где идет скучная и злая жизнь среди японских мопсов, и, наконец, черт возьми, я вспомнил о горячей замученной Яве, где портреты этой сухонькой женщины висят в полицейских префектурах, как иконы торгашей и чиновников, пасторов и офицеров.

Серебряный дождевой звон церквей струился в каналы, на черные улицы, сыпался, как водяная пыль, на наши куртки, на железные палубы барок, на темную гавань.

В гавани качались в такт звону сотни фонарей, и крепкие матросские плевки возвещали о недовольстве жизнью.

Я пошел к собору. Асфальты центральных улиц горели черными озерами воды. Собор пламенел, и ветер гнул к югу зеленые языки газовых фонарей. Тяжелая зелень роняла за шиворот ледяные капли.

Я видел, как королева вышла из собора. Лицо ее улыбалось, щеки свисали, и лакеи застыли у открытой дверцы черного автомобиля. Она прошла шаркающей походкой старухи, губы ее жевали. Торговцы кофе сняли котелки, и вдоль мокрого асфальта легли две ослепительные реки автомобильного света. Захлопнулась дверца, машина

мелодично пропела сиреной и пошла к дворцу.

Потом я видел, как из тени дерева вышел знакомый матрос, читавший письмо Мультатули. Он остановился, покачиваясь и насвистывая песенку. Он был пьян. Руки его были по локоть засунуты в карманы.

— Получай, хрычовка! — крикнул он, когда автомобиль поравнялся с ним, выхватил руку из кармана и швырнул в королеву камнем.

Звонко треснуло и посыпалось стекло, автомобиль круто повернул и остановился. Полицейские бежали, скользя по мостовой, бешено цокали копыта мчавшихся всадников, толпа гудела и сжималась кольцом.

Взяли его с трудом. Он выхватил костыль у Ганса и отбивался от полицейских, как от своры псов. Ганс упал. Автомобили сгрудились и противно ревели, излучая зеленоватый свет.

Полицейские били его, он закрывал голову руками, и на все это смотрела королева, вышедшая из автомобиля. Щеки ее тряслись, она попискивала, как мышь. Она сверлила узкими глазами толпу полицейских, отыскивая матроса. Рука у нее — большая куриная лапа — была разбита камнем, она закрывала ее кружевным платком.

Я ушел к себе на пароход. Амстердам засыпал

под скучным ночным дождем. Северный ветер дул с моря, и это освежало мою голову.

Москва, 1925

Записки Василия Седых

Записки Василия Седых были найдены в одном из наших северных портов при обстоятельствах, исключительных для сухопутного жителя и обычных для моряка.

Грязный буксир приволок в порт норвежский рыболовный бот.

Бот был замечен в океане после шторма. Он до палубы сидел в воде, команды на нем не было.

Бот вытащили лебедкой на сушу. Из щелей в борту хлестала зеленая вода, размывая на берегу рыхлый снег и песок.

Шла весна. С океана дули нервные, порывистые ветры. Все было мокро и блестело, как клеенка, — и бурые скалы, и бревенчатые дома, и высокие сапоги рыбаков.

Я бродил по порту с головной болью. Мои припухшие от полярной ночи глаза щекотало жидкое солнце. Вокруг было столько сырости, что хотелось выжать в кулаке, как губку, — порт, город и даже небо. Я представлял себе, как выжатое небо развернется над пристанями грубым синим полотном, прозрачное от горячего, сжигающего кожу солнца.

Я бродил по пристаням, липким от рыбьей чешуи, и тосковал по жаре. Билет в Москву лежал у меня в кармане. Коричневый кусочек картона отсырел и прилипал к холодным пальцам. В нем была вся моя тоска по сухости, по теплу.

Слоняясь по пристаням, я увидел на берегу норвежский бот. Вокруг него толпились рыбаки и грузчики. Толпа была угрюма и нелюбопытна: на Севере любопытство — признак слабости, его тщательно скрывают. Я подошел. Рыбаки вытаскивали из трюма вещи. Знакомый капитан порта стоял рядом и заносил их в список. Это были скудные остатки кораблекрушения: плащи, алюминиевая посуда, размокшие карты, бинокль и два матросских, окованных железом сундучка.

Сундучки вскрыли. В одном среди фотографий и чистых рубах лежала тетрадь, завернутая в вощеную бумагу. Капитан порта ухмыльнулся:

— В вощенку завернул, чтобы не раскисла в случае чего. Дотошный парень. Ну-ка, посмотри, что здесь такое.

Он взял тетрадку, но не посмотрел ее, а отдал мне. Ему было некогда: из трюма вытаскивали сети. Толпа зашумела и дрогнула. Новая норвежская сеть падала грузами на берег, поддерживаемая корявыми руками. Ее воровато щупали,

перетирали нитки, нюхали пальцы. Из трюма змеей выползало пеньковое богатство, чудесная ловушка для сельдей, гигантская сеть ценою в тысячи золотых рублей. Страсти разгорелись, и я ушел незаметно, унося тоненькую тетрадку. Цена ей была пять копеек.

Вечером я уехал в Москву, не оглядываясь на Север, — он уползал в темноту вместе с мокрым снегом и тусклыми рельсами.

В Москве я впервые раскрыл тетрадку, — признаться, я даже позабыл о ней. Прежде всего меня поразило то, что она была написана по-русски. Потом слово за словом я переписал ее начисто. Меня не покидало чувство ученого, восстанавливающего санскритскую надпись. Я восстанавливал прямые каракули, и из них, как из густого тумана, появились контуры истории, волновавшей всех до войны, но потом забытой.

Вот содержание тетради.

Записки Василия Седых, 50 лет

В 1910 году через английского консула в Томске нанялся я на службу в английскую экспедицию к Южному полюсу. Я привычен ко льдам, плавал матросом с капитаном Вилькицким, умею ходить за собаками, а англичанам нужен был такой чело-

век, — они брали с собой наших сибирских лаек.

Жалованье мне положили десять фунтов в месяц на ихних харчах и обмундировании, не считая, что до дому туда и обратно они взялись меня доставить за свой счет.

Я, конечно, согласился, потому хотелось мне поглядеть на Англию, и опять же за два года я заработал бы 240 фунтов (на наши деньги 2400 рублей), а риску никакого, — на самый полюс идти мне было не надо.

Командовал экспедицией капитан Шкотт, англичанин, человек спокойный и ласковый. Ко мне он был хорош.

Однако в Англию я не попал, а отправили меня через Японию в порт Сидней, в Австралию.

В Японии видел я Внутреннее море, — очень мне понравилось. Море, кругом острова в садах и лесах, и нет на том море штормов, всегда тихо. Стоит оно как пруд. Японские рыбаки ловят там рыбу, чудную, на мой взгляд, — красного и желтого цвета. Воздух там прозрачный и жаркий. Там мы стояли сутки, и я купил себе в городе Кобе эту тетрадку. Сделана она из японской рисовой бумаги, и порвать ее невозможно.

В Кобе я последний раз пил вино и глядел японский театр: артисты рубили друг друга шашками.

Весь пол залили кровью, музыканты били в котлы, затянутые бычьим пузырем, а публика смеялась и пила саки. Представление идет круглый день, так что иные тут же спали.

В Кобе встретился мне наш морячок, цусимец. Он женился на американке. Жена его держала прачечную, а он ходил цельные дни пьяный и играл песни. Узнал, куда я иду, и очень удивился.

— А что там, на этом самом полюсе, — земля, лед или вода?

Я и сам не знал. Думалось мне, что лед.

— Отчаянный ты человек. Ты с английских харчей подохнешь, они кормят соусами и пирогом из риса, а водка, правда, у них знаменитая. Но водки той они тебе не дадут, потому ты русский, а русские у них в небрежении. Будешь скорбеть.

Мне же возврату не было, потому я молчал.

За Японией мы шли Тихим океаном. Красота такая, что только помалкивай. Солнце заходит — будто вода и небо горят, и некуда спрятаться. Первое время было мне страшно: все не наше, — рыбы летают и бьются о борта, матросы жуют какой-то красный корень, и изо рта у них течет пена, похоже на кровь, острова там круглые, а в середине озера — вода в них тихая, не шелохнет. Но в озера эти прохода нет, и укрыться в случае

волнения нельзя. Острова те из коралла, что у нас делают бусы, но коралл серый, некрасивый, — только песок красный.

Народ на тех островах живет под британским флагом. Народ статный, широкогрудый и темный, вроде как негры, но чище и взгляд светлее. Женщины там хороши — как девочки, все в бусах и очень смешливы.

В скором времени пришли в Сидней, а оттуда отправили меня на остров Новую Зеландию, где дожидалось судно капитана Шкотта. Прибыл я туда со страхом. Порт маленький, кругом горы, леса, чистота, и что мне понравилось — масло, молоко, сыр — все со льда.

Судно Шкотта я поглядел. Неважное судно с виду, но на ходу оказалось хорошее, быстрое, только чуть валкое.

Название судну «Терра Нова», что по-ихнему, значит «Новая Земля».

К тому времени я уже подучился по-английски.

Шкотт призвал меня, подал мне руку, показал на собак. Собаки как собаки — крепкие. Однако от жары будто ослабли.

Узнал я тогда, что на полюсе великая земля и горы, и самый полюс лежит на тех горах на боль-

шой высоте. К земле этой — называется она Росс — шли мы долго.

Шторма там жестокие, валит и валит неделями, и все с веста на ост. Видели много китов.

В дороге Шкотт часто приходил ко мне, глядел на собак. Из себя он был задумчивый, хотя часто смеялся. Команды у него было много — все англичане, только я да Иван Корнеев — русские. Были и норвежцы. С теми мы быстро спелись, — свой брат. А к англичанину привычка долгая, и он к тебе издали привыкает.

Но как привык, — лучший твой товарищ и ни за что не выдаст. Не человек — железо.

Губы сожмет и работает, пока кровь не пойдет из-под ногтей. Болтовни у них мало, больше свистят, а ругани я ни разу не слышал. Команду выполняют справно, бегом.

Хороший экипаж, сказать нечего.

Подошли вскорости ко льдам, — здесь дело знакомое. По развозьям пошли к югу. Льды там не наши. Цвет иной, — вроде как, медные наполовину и синие наполовину, и зверья почти нет. Не видел я ни одного медведя.

Подошли к земле. Не земля это, а называется «ледяная стена». Об нее бьет волна, стоит шум, а высота такая, что смотреть дух захватит.

Матросы притихли. Места, верно, страшные. Всю жизнь свою вспомнишь, и мутно делается на сердце, — сказать по правде, думалось мне, что не выбраться нам из тех мест живыми.

Утром встанешь — туман, льды прижимают к берегу, накат, а берег — лед до самого неба, полированный и не очень синий. Море в трещинах, гудит, будто поезд.

Однако прошли эти места, подошли к настоящему берегу, камню. Берег черный, похоже на наш сибирский, но потемнее, и все время ветер бьет и бьет с севера, некуда укрыться.

На берегу построили дом. Строили долго, тепло, все пригнали, из снега подле дома сделали помещение для собак и приготовились зимовать.

Шкотт располагал идти к полюсу летом, а зимой готовиться: главное, сколько можно продвинуться в глубину земли и оставлять через день-два ходу склады с продовольствием. Так и делали.

«Терра Нова» ушла. Взяла меня черная тоска: страшные места, и никак я не мог взять в расчет — кому это нужно снимать с этих мест карты, ездить сюда, идти до полюса.

Удивлялся я тогда человеческому любопытству, и думалось мне, что будто зря все это, от скуки. Сказать к примеру, — я матрос, служу, наняли

меня, я свою работу исполняю, как и иная команда. А Шкотт — чего ему нужно было от тех мест? Думал я долго, спросил однажды Корнеева. Он поглядел на меня, посмеялся и говорит:

— Человек все должон знать, такое ему определение. Понял? Деды наши на печке лежали — лучину только и придумали, отцы понаторели — электричество нашли. Ты, Василий, мозгуй. Электричество выдумали или нашли? Выходит так, что выдумать его невозможно, потому оно находится скрозь на земле. Значит — нашли. К находке человека тянет, понял? Сосет ему под сердцем, что не все еще знает. Называется — наука. Вот и у Шкотта сосет на сердце — что находится там, на полюсе? Норвежец сказывал, как дальше от берега, так все теплее, а на полюсе, говорит, жара и горы, и незнакомая земля, и незнакомые звери, и лежит в земле, говорит, большое богатство — уголь и керосин и, может, золото. А может, говорит, там лед и ни черта больше нет. А узнать это, говорит, необходимо. Приказ такой от ученых людей. Понял?

Понять-то я понял, но охоты идти на полюс у меня, правду сказать, не было. Глянешь туда, — снега, горы, мутно на горизонте, сизо. Думаешь: тысячи верст, — и ни души, ни былинки, ни зве-

ря, ни человека, только лед да стужа. Прямо ад.

Удивлялся англичанам — храбрецы! Казалось сначала, — может, от горя, от несчастья собрались они все и вот мыкают его тут. Потом узнал, что у Шкотта дети есть и жена, и никак не мог понять — куда же его несет на чистую смерть? Чудак — не иначе!

Ко мне был приставлен английский офицер в чине лейтенанта. Фамилия ему была Отс. Должен был я его обучить ходить за собаками. Человек он был понятливый, молодой, довольно веселый. Помню, учил русские слова, собирался читать русские книги, говорил: «Лучше ваших русских книг нету на свете».

Парень невысокий, но ладный — тонкий, крепкий. Потом, конечно, оказалось, что молодые поболе чувствительны к морозу, чем старички. Кости и кровь у них ровно у детей, и они первые потому пропали. Тогда же этого еще не знали.

Было у меня с Отсом несчастье. Брали мы со льда ящики с галетами, — с судна все товары сгрузили на лед, на самую кромку у воды. Подвели мы собак, стали грузить ящики, а собаки легли около самой воды и дышат. В тех морях есть зверь, называется кашалот, похоже на кита, только меньше и лютее. Пасть громадная, зубы

как бритвы. Один кашалот вывернулся из-под льдины, схватил ближнюю собаку и унес, только кровь пошла по воде. Собаки кинулись к нам под ноги, и тут же кашалотов двадцать зачали нырять у льдины и лязгать зубами. Глаза у них с зернышко и красные от злости.

Отс выстрелил в одного, должно, попал — ушли под лед. Чуть мы начали снова грузить — льдина треснула, нас подкинуло, три собаки упали в трещину, и тут же их унесли кашалоты. Шкотт видел издали это дело и говорил, что кашалоты спинами подняли и разбили льдину. С тех пор мы их крепко опасались.

Живет в тех местах еще птица пингвин, без крыльев. Умная птица, самолюбивая, понятливая, как собака. Пингвинов мы гоняли палками, — очень любопытны они и мешали работать.

Настала вечная ночь, зима (зима там бывает в то время, как у нас лето). Тяжкая была зима, хоть и старались англичане ее побороть.

Бураны и бураны, чернота и холод такой, что чудится — земля промерзает до самой середки. Дом занесло снегом выше стропил.

Среди зимы пришло плохое известие. Трое из наших людей пошли искать за сто верст дом, что должен был остаться от старой экспедиции Шекл-

тона. Дом нашли, а за домом нашли норвежцев. Тоже, оказывается, собирались идти на полюс.

С тех пор Шкотт помрачнел и забеспокоился. Да и правду сказать, было трудно. Ночью проснешься, глядишь, а он не спит, пишет. За стеной такой воет буран, что и в доме страшно, ночь — не проглянешь, бревна трещат от стужи. Где уж весело! До Англии, почитай, десятки тысяч верст.

К весне сборы пошли побыстрее, а вскоре Шкотт назначил отход на полюс. Верст за двести мы его провожали, а на самый полюс ушло их пятеро: Шкотт, Отс, Боурс и еще двое.

Может, кто будет читать эти мои писанины, так я должен сказать, что Отс очень меня полюбил, и мне он приглянулся. Когда мы прощались, Отс стал смутный, отвел меня в сторону и говорит:

— Неизвестно — вернусь ли, нет ли. Судьбу свою не вижу, и знать ее никто из нас не знает. Так вот, Василий, возьми письмо в Англию моим семейным. Ежели пропаду — передай, но только самолично. Расскажи про меня, — как и что. Ежели вернусь, письмо отберу. А насчет благодарности не беспокойся.

Меня в жар бросило от этих слов, подумалось: а правду говорил морячок-цусимец, что англичане смотрят на нас с небрежением.

— Вэри вэл, — говорю. — Верьте мне, как самому себе, — письмо передам. А благодарностью вы меня не обижайте. Оно как будто выходит нехорошо, — вместе страдали, вместе будем друг друга и выручать.

Тут он обнял меня, поцеловал и пошел прочь. Трудно пришлось ему, но оно и понятно.

Мы вернулись. Ждали Шкотта положенное время — все нет. Недели проходят — все нет. Пошли навстречу, не дошли — сорвались бураны, каких свет не видал, морозы, все ревет зверем, крутит, несет. Англичане примолкли, говорят: «Опоздал Шкотт, пришло время метелей, скоро зима, пропал Шкотт».

Пришло за нами судно, а Шкотта нет. Часть англичан осталась ждать его, зимовать вторую зиму, а часть команды перешла на судно. Перешел и я.

Вскорости мы снялись и пошли в Англию. Тоска грызла на сердце, — чуяли мы все, что погиб Шкотт, и страшнее этой смерти никто не мог и придумать. Чудилось мне все, что занесло их снегами, намело над ними большие сугробы, и где же их найдешь? Может, не хватало пищи, а может, спирту, или окровенили ноги в морозы, — шутка сказать — сотни верст шли люди по

снегам да горам.

В порту в одном, в Индии — забыл я, как зовется этот порт — сказали нам, что норвежцы обогнали Шкотта, открыли полюс и возвратились, а что со Шкоттом — никому не известно.

А в Англии пришли телеграммы, — погиб Шкотт и все пять человек, трупов же нашли только три. Говорят, Отс замерз сам, наложил на себя руки, чтобы не губить товарищей: ноги у него начали гнить, и идти он не мог, убить же его они не хотели.

Узнал я об этом, снял шапку, помолчал. Вспомнил зиму и ледяную стену, и бураны, и Отса — заплакал. Эх, горше такой смерти нет конца на земле!

Прибыли мы в Англию, получил я расчет, а письмо у меня на руках. Надо передать. Справился, — городок, куда написан адрес, маленький, от Лондона далеко, в Шотландии. Купил билет, поехал. Помню, — Отс приказал отдать письмо самолично: воля его для меня, как воля родного брата.

Приехал я. Городишко у моря. Махонький, чистенький, тротуары кирпичом выложены, тихо, как в деревне, только петухи поют по садам.

Иду, спрашиваю детей — где, мол, живет здесь

такая-то, — читаю адрес. А детишки сбились вокруг меня и молчат, — будто чуют, кто я и откуда. Один взялся меня проводить.

У меня ноги дрожат, — до того мне страшно и смутно: смерть в дом несу. Соображаю, конечно, что знают семейные из газет, а все одно трудно. Однако пришел.

Открыла мне старушка — чистенькая, серенькая. Взглянула на меня, отступила, села на стул, крикнула: «Седых!» — и заплакала.

Я обмер. Откуда она узнала мою фамилию — не пойму. Голова у меня закружилась. Прислонился к стенке, куртку расстегиваю, хочу письмо вынуть, а руки не слушаются. Вот горе! Выбежала барышня, — тонкая, черные волосы, глаза странные, остановилась и спрашивает:

— Мама, что это? Что?

Я вынул письмо, подал, выскочил на улицу — и к вокзалу. Голова ходит кругом, оттого, должно, и запутался: не нахожу вокзала — и крышка. Через час до него добрался, иду к кассе, а у кассы та самая барышня. Схватила меня за руку и говорит:

— Идемте к нам! Расскажите про него все, каждую мелочь, что говорил, что делал. Живите у нас сколько хотите.

А сама плачет.

Пришлось мне вернуться. Все я обсказал. Они за мной ходили, можно сказать, как за родным сыном. Потом догадался, — старушка меня узнала из газет, в газетах были наши портреты напечатаны.

Неловко мне было. Отвели мне комнатку, жил я у них, кое-чего помогал, — сначала то да се: то уголь принесу, топлю камин, то сад приберу, а потом нанялся в рыбачью артель и стал жить в том городе. Неохота мне уезжать, да и барышня — Мэри ее звали — меня не пускает.

— Самый вы, — говорит, — родной для нас человек, не пущу я вас никуда.

Приехал как-то еще один из наших, из экспедиции. Пошел я с ним в город табак покупать, он мне и говорит:

— Ты знаешь, кто такая Мэри?

— Говорят, невеста его.

— То-то что невеста. Она из семьи лордов, богатейшей семьи. Не хотела она замуж за него идти — или сама, или родители не пускали, неизвестно. Как узнала, что он погиб, бросила все — семью свою и богатство, приехала к его матери и живет с ней как дочка. Так-то, говорит, Василий, скручивается жизнь. Повидали мы с тобой много горя и радости.

— Да, — говорю, — повидали. С нас хватит!

Так прожил я у них тихо до самой войны. Душевные были женщины. Вечером, бывало, молодая играет на рояле, а старушка сидит у огня, и голова у нее трясется, — нет у нее и не будет сына.

Началась война. Поехал я к русскому консулу, — мобилизовали меня во флот, потерял их из виду, а там понесло, закрутило, и плаваю я теперь на норвежском рыболовном боте с одним приятелем из экспедиции, тем самым, что брехал про Южный полюс, будто там богатства несметные и жара.

Вот содержание записок.

Я разыскал и прочел дневник капитана Скотта. Вся литература показалась мне праздной болтовней перед этим дневником смерти, дневником людей, безропотно гибнущих от гангрены, голода и потрясающей стужи в ледяных пустынях Антарктики, где даже названия нависают черной и непоправимой угрозой. Особенно запомнилось мне название одной из гор — «Ужас».

К Южному полюсу экспедиция Скотта шла на лыжах. Их было пять человек. Один шел с сотрясением мозга (он несколько раз падал в глубокие трещины в льду).

Вблизи полюса шедший впереди остановился

— на снежной белизне что-то чернело. Сердце у Скотта упало, — он понял, в чем дело. Два часа они стояли, не двигаясь, боясь подойти, боясь увериться в том, во что они не хотели верить.

Но Скотт знал, — черное на снегу была палатка, брошенная Амундсеном. Норвежец их обогнал. Это был конец. С этой минуты Скотт понял, что им не осилить обратно пути, не проволочить за сотни миль по обледенелым снегам кровоточащие распухшие ноги. Тогда всем поровну был роздан яд.

Лейтенант шел обратно с полюса в жару, в гангрене, с помутившимся сознанием. Он задерживал экспедицию. Он понимал, что из-за него погибнут все. Нужен был выход, и Отс его нашел. Капитан Скотт пишет:

«17 марта 1911 года. Третьего дня Отс сказал, что дальше идти не может, и попросил нас оставить его, уложив в спальный мешок. Это мы сделать не могли и уговорили его идти с нами. Несмотря на нечеловеческую боль, он крепился, и мы сделали еще несколько миль. К ночи ему стало хуже. Мы знали, что это конец.

Он до самого конца не терял, не позволял себе терять надежды. Конец же был вот какой: он уснул предыдущей ночью, надеясь не проснуться,

однако утром проснулся. Это было вчера. Была метель. Он сказал: „Пойду пройдусь. Может быть, вернусь не скоро“. Он ушел в метель, и мы его больше не видели. Он поступил, как благородный человек».

Экспедиция погибла. Вот последняя запись Скотта: «Топлива нет… Пищи осталось на раз. Должно быть, конец близко. Девять дней свирепствует непрерывный шторм. Нет возможности выйти из палатки: так снег несет и крутит. Не думаю, чтобы мы могли еще на что-то надеяться. Мы выдержим до конца, но мы все слабеем, и смерть недалеко.

Мы рисковали, рисковали сознательно. Нам была во всем неудача, но если бы мы остались живы, я бы такие вещи рассказал о мужестве, выносливости и отваге моих товарищей, которые потрясли бы каждого человека. Повесть эту пусть расскажут мои записки и наши мертвые тела. Но не может быть, чтобы такая богатая страна, как Англия, не позаботилась о наших близких!»

Трупы Скотта и его спутников нашли через восемь месяцев. Не знаю, — услышала ли Англия последний отчаянный вопль гибнущего капитана Скотта о близких. Этот свой вопль Скотт бросил всему человечеству, как бы призывая

его в свидетели, — должно быть, у него были основания сомневаться в том, что богатая Англия поможет его крошечным детям.

1929

Медные доски

Берг раздул костер. Глухая ночь стояла над лесным краем. Слепые зарницы, в беспамятстве, падали в озеро. Воздух крепко настаивался в чащах, на золотом листе, и от него кружилась голова.

Комсомолец Леня Рыжов — в просторечье Ленька Рыжий — проснулся и прислушался.

На болотах кричали утки и журавли, в озере плескала рыба.

На рассвете напились чаю и пошли на мшары искать глухарей. Глухари паслись на бруснике. Синяя заря поднималась к зениту, и Бергу было почему-то жаль ночи, костра, диких запахов сырой осенней листвы и блеска зарниц, отражавшихся в черном озере.

Идти было скучно. Берг сказал:

— Ты бы, Леня, рассказал чего-нибудь повеселей.

— Чего рассказывать? — ответил Леня. — Вот разве про старушек, про ваших хозяек есть один факт. Старушки эти — дочери знаменитейшего художника Пожалостина. Академик он был, а вышел из наших пастушат, из сопливых. Его

гравюры висят в музеях в Париже, Лондоне и у нас в Рязани. Небось видели?

Берг вспомнил прекрасные гравюры на стенах своей комнаты, чуть пожелтевшие от времени.

Он поселился в Заборье, глухой деревушке, у двух хлопотливых старух. Берг принял их за бывших учительниц. Они не спали по ночам — сторожили одичалый яблочный сад, охали, побаивались Берга, робко жаловались на несправедливости сельсовета. В комнатах их пахло сухой мятой.

Только теперь Берг вспомнил первое, очень странное ощущение от гравюр. То были портреты старомодных людей, и Берг никак не мог избавиться от их взглядов. Когда он чистил ружье или писал, толпа дам и мужчин в наглухо застегнутых сюртуках, толпа семидесятых годов смотрела на него со стен с глубоким вниманием. Берг подымал голову, встречался с глазами Полонского и Достоевского, поворачивался к ним спиной — и продолжал чистить ружье, но почему-то переставал насвистывать.

— Ну, — спросил Берг, — что было дальше?

— А дальше вышла такая чертовщина. Приходит в сельсовет кузнец Егор. Видели, должно быть, тощий такой мужичонка, — на чем толь-

ко портки держатся, — и требует меди. Нечем, говорит, чинить, что требуется, значит, для народонаселения. Давай, говорит, снимать колокола со святого Спаса.

И встревает в это дело Федосья, баба из Пустыни, страшная верещунья и стерва: «Колокола, говорит, отбираете, а у Пожалостина в доме старухи так по медным доскам и ходют, — сама видела. И чтой-то на тех досках нацарапано, — не пойму и чегой-то они их прячут и не сдают в лом советскому правительству — тоже не пойму».

Председатель говорит мне: «Вали, Лешка, до старух, отбери. Им эти доски без надобности».

Я пришел, сказал, в чем, значит, дело. Застал я одну только старушку — горбатенькую. Посмотрела она на меня, заплакала и говорит: «Что вы, молодой человек. Разве можно медные доски трогать. Это, говорит, народная ценность, я их ни за что не отдам».

Я попросил: «Покажите, говорю, подумаем, что делать». Она выносит мне доски, завернутые в чистый рушник. Я взглянул и замер. Мать честная, до чего тонкая работа, до чего твердо вырезано. Особенно портрет Пугачева, — глядеть долго нельзя, кажется, с ним самим разговариваешь.

Подумал я и говорю старушке: «Доски эти дер-

жать у вас в доме никак нельзя. Это государственная ценность, а тут может прийти любой, — то кузнец Егор, то Федосья, то черт да дьявол, — и пойдут эти замечательные портреты на гвозди для подметок. Надо их сдать в музей».

Старушка уперлась, даже дрожит вся. «Не дам, говорит, и в музей. До нашей смерти пусть тут остаются, а потом делайте, что хотите».

Я вернулся, говорю Степану — председателю сельсовета, что надо, мол, эти доски сдать в Рязанский музей.

«Ни черта подобного, говорит, — ты не хочешь, так другие сделают». И посылают за досками Егора с официальной бумагой. Так, думаю. Ну ладно. Бегу к старушкам, поспел раньше Егора, говорю:

«Давайте мне доски на сохранение, иначе Егор их переплавит. Председатель у нас корявый, таких дел не понимает».

Старушки перепугались, отдали мне доски, я спрятал. Егор пришел ко мне, обыск хотел сделать. Я, прямо скажу, ударил его, выгнал из избы, а доски отправил в Рязань, в музей. После этого только и успокоился.

Ну, значит, созвали собрание, — судить меня за это дело. Я вышел и говорю: «Поступил я правильно, а Егора, верно, ударил сгоряча. Про гравюры

мы толковать не будем, — не вы, а дети ваши поймут их ценность, а остановимся на почтении к труду. Человек вышел из пастухов, десятки лет учился на черном хлебе и испитом чаю, в каждую доску столько труда вложено, бессонных ночей, мучений человеческих, таланта…»

— Таланта! — повторил Леня громче, задумался. — Это понимать надо! Это беречь и ценить надо! Как же можно достигнуть новой жизни без таланта? Ну, одним словом, вины я своей не признал, хватил горя порядком, но одного добился, — Степана вывели из сельсовета, дело только позорил.

Леня остановился. Сквозь мелкий осинник, осыпавший лимонную листву, в полном переполохе спасался глухарь. Он пробирался сквозь чащу и шумел как медведь.

— Ну, черт с ним! — сказал Леня. — Меня занимает ваше мнение: прав был я или нет?

— О чем спрашиваешь? — ответил Берг. — Дело ясное. Он посмотрел на Леню и улыбнулся. Ветер нес сухие листья берез и засыпал ими дальнее озеро. Осень дышала запахами лесов, холодной воды, свежести. Леня нагнулся, понюхал старый мшистый пень и засмеялся.

— Чистый иод! — сказал он и вскинул ружье. —

Пошли дальше!

Солотча, 1932

Три рассказа

1. Маслобойка «Альфа Лаваль»

Агроном Хачатуров, низенький старик с седыми сердитыми усами, любил философствовать.

— Ай Аджаристан! — сказал он. — Ай страна! Вот страна, где перепутались все столетия. В Батуме теплоходы, электричество, заводы Азнефти и милиционеры под зонтиками — культура, двадцатый век; в Хуло уже пованивает семнадцатым веком; а где-нибудь на Горджомской яйле выбивают огонь кремнем и варят сыры в десять пудов весом из грязного молока с шерстью. Такие сыры варили еще в каменном веке. Если вам это интересно — почитайте.

Он вытащил из морщинистого портфеля доклад, переписанный на машинке через красную ленту. Доклад назывался «Отчет о поездке на Горджомскую яйлу в августе прошлого года совместно с комсомольцем Али Сахарадзе и директором шелкоткацкой фабрики Падико Варнидзе».

Ткнув папиросой в фамилию Варнидзе, Хачатуров пробормотал:

— Тоже комсомолка, женщина.

Я взял доклад и ушел в гостиницу. За окном качались на маслянистых волнах тысячи низких звезд. Я путал их с портовыми фонарями и пароходными сигналами. Тараканы величиной с мышат бегали вокруг моего чемодана и всю ночь не давали уснуть. Поэтому я прочел доклад Хачатурова очень внимательно.

«Прежде чем дать отчет о поездке, я остановлюсь на описании Горджомской яйлы как места весьма своеобразного.

Яйла эта, являющаяся летним пастбищем, расположена на вершинах гор. Скот на эти пастбища выгоняют в половине мая, когда в селениях начинаются яровые посевы кукурузы. Возвращается скот к концу сентября. Со скотом уходят в горы преимущественно женщины и дети.

На пастбище строят двухэтажные дома со щелястыми полами из тонких бревен. Внизу стоит скот, вверху живут люди, пропадающие от испарений навоза и обилия блох.

Посреди дома устроен очаг, на котором готовят пищу и варят сыр. Доят скот в деревянные ведра — «кохто», вымени не моют, молока не процеживают. Масло сбивают кистью руки. Сбивание продолжается три часа. Масло имеет отврати-

тельный вид грязи белого цвета с примесью волос и сора.

Из снятого молока готовят сыр «пейнири», а из сыворотки — «курут», сухие лепешки, вызывающие у непривычных людей рвоту.

На Горджомскую яйлу я выехал для внедрения в быт скотоводов новых, улучшенных методов ухода за скотом и приготовления молочных продуктов.

Со мной в качестве помощника выехал комсомолец-аджарец Али Сахарадзе, а также директорша шелкоткацкой фабрики в Батуми Падико Варнидзе, имевшая намерение завербовать в работницы своей фабрики нескольких девушек-аджарок.

Мы взяли с собой маслобойку «альфа лаваль» и сепаратор. Ведал ими Али Сахарадзе.

Мы оба очень радовались присутствию Падико — без нее работа на яйле среди женщин была бы совершенно немыслима. 17 августа утром мы выехали из села Горджом и к вечеру уже были на яйле Джан-Джнери, куда был согнан скот из двух ближайших селений. Через час после нашего приезда собрались мужчины яйлы. Они с опаской поглядывали на сепаратор. У большинства в руках были зонтики на случай внезапного в тех

местах дождя.

Али объяснил устройство машины и пустил ее в ход. Сепаратор все время засорялся, так как в молоке оказалось множество грязи. Потом мы пропустили сливки через маслобойку и меньше чем в четверть часа получили прекрасное масло.

Поднялся страшный крик, мужчины хватали нас за руки, гладили маслобойку, потом потащили ее из дома в дом, и каждый сбивал себе масло, не подпуская к маслобойке детей.

Приносить сливки к нам горцы решительно отказались, извинившись при этом и сообщив, что выносить сливки из дому нельзя, так как их могут сглазить.

Падико, воспользовавшись случаем, собрала женщин и уговорила троих отдать дочерей на фабрику.

20 августа мы выехали на яйлу Саджогия.

Слух о нашем путешествии по яйле дошел сюда раньше нашего приезда, и в Саджогия собрался народ со всех окрестных яйл посмотреть большевистскую машину.

В Саджогии произошло несчастье — ночью была украдена маслобойка. Вечером шел дождь, но наутро мы не нашли около нашего дома никаких следов. Вор, как объяснил нам хозяин, подошел к

дому по разостланной бурке, дабы не оставлять следов.

Утром Саджогия являла собой картину невероятного возбуждения. Казалось, что горцы готовятся к войне. В домах кричали, мужчины чистили старые ружья, женщины рыдали и рвали на себе волосы, оплакивая маслобойку. Дело в том, что саджогинцы к ней приценивались и хотели ее купить.

В полдень появился милиционер Одар-Оглы, мрачно заявивший, что маслобойку украли мужчины с яйлы Дод-маджара и что живыми они ее не отдадут.

Возбуждение достигло предела. Мужчины вскочили на лошадей и готовились с воинственными и гортанными криками мчаться в Додмаджару. Я предчувствовал кровавые события. Далее Падико, привычная к аджарским нравам, была испугана.

Положение спас Али Сахарадзе. Он произнес речь. Он выкрикивал ее надорванным голосом. Он призывал к благоразумию и даже сказал, что кража маслобойки является фактом положительным, ибо свидетельствует о страстном желании горцев улучшить свое первобытное хозяйство. Советская власть пришлет на яйлу много маслобоек, и волноваться нечего. Что же касается

украденной, то она будет найдена и передана в качестве подарка от комсомольцев жителям Саджогии.

Страсти утихли, и за маслобойкой поехали двое: Али и милиционер, сильно напуганный всем случившимся.

К вечеру они вернулись с маслобойкой и рассказали, что ее украл некий Бишашвили, бывший житель Сужинского района. Отдавая маслобойку, он плакал и рассказывал, что у себя в Сужинских болотах он сплошь и рядом был вынужден собирать посев кукурузы, плавая на дырявой лодке по разливам рек и болот. Этот факт он приводил в качестве оправдания — после столь тяжелых условий работы у себя на родине он был потрясен той легкостью, с которой машина заменяла человека.

Несвязные оправдания Бишашвили дали повод Али рассказать жителям гор о громадных работах, предпринятых Советской властью для осушения Потийских малярийных болот, где в недалеком будущем зацветут лимонные сады, а рис и индийская пшеница заменят собой грубую кукурузу.

По случаю возвращения маслобойки жители Саджогии устроили пир и пляски и согласились

отправить на шелковую фабрику в Батум двух девушек. Мы уехали, провожаемые благословениями. На обратном пути нас нагнал посланец от жителей селения Хилован из Верхней Аджарии и просил прислать их колхозу три сепаратора и столько же маслобоек. Слух о новых машинах летел по горам со скоростью телеграфа, его разносили всадники, и яйлы волновались, как потревоженный улей».

2. Худоба от нежности

Падико Варнидзе два года назад носила чадру. Сейчас она внимательно и открыто смотрит в глаза собеседников-мужчин. От ее рук едва слышно пахнет сырым шелком.

Ее отец, семидесятилетний аджарец из Кабулет, недавно вступил в партию. Его приняли, несмотря на дряхлость, — старик воспитал нескольких сыновей, ставших видными аджарскими революционерами.

Падико Варнидзе два года назад, по ее словам, была вдвое толще, чем теперь.

— Я худею от нежности, — говорит она и смеется гортанно и застенчиво. — Не от нежности к детям или к кому-нибудь из мужчин, — добавляет она, совершенно смутившись, — а от

необходимости очень нежно обращаться с работницами-аджарками. Им нельзя сказать ни одного строгого слова. Их надо обучать делу очень ласково и терпеливо. Когда они ошибаются, то плачут, эти мои девочки. Я не директорша фабрики, я — мама, а фабрика — наша общая семья.

Среди работниц фабрики много аджарок из глухих горных домов, пограничных с Турцией. До сих пор они с угрюмой дикостью смотрят на мужчин. Их прямые брови упрямо сходятся над детскими печальными глазами.

По вечерам работницы ходят в клуб женщин-аджарок учиться грамоте или в школу фабрично-заводского ученичества. Жажда знании у них неистребима, как у номадок. В Батуме они впервые увидели электрические огни, океанские пароходы, книги, услышали звонки телефонов. Приобщение к культуре у них идет так же стремительно, как стремительно рождает тучная почва Аджаристана плоды и деревья: здесь достаточно трех лет, чтобы выросло дерево, по величине равное нашему тридцатилетнему.

Через два месяца дикие девушки превращаются в комсомолок, очень сдержанных, полных глубокого внутреннего достоинства и врожденной суровости, но болезненно чувствительных

ко всякому суровому слову.

Поэтому и худеет Падико. Иной раз и надо бы рассердиться со всей силой аджарского темперамента, но сердиться нельзя. Это равносильно остановке фабрики, равносильно вредительству. Тотчас же девушки заплачут, взволнуются, машины пойдут кое-как, нитки начнут рваться, и угроза прорыва станет реальной и почти неустранимой. В работу на шелковой фабрике девушки-аджарки вносят тысячелетние навыки, воспитанные в горах в непрерывной работе по изготовлению ковров и тканей, — тщательность, молчаливое упорство, умение вылавливать порвавшуюся пить не толще тончайшей паутинки.

Фабрика окутана солнцем и отблесками желтоватого шелка, так иногда блестит на рассвете морская волна. В окна дует бриз. И слышно, как сухо шелестят, перебирая зелеными пальцами, молоденькие пальмы.

Только на закатах девушки-аджарки хорошо видят свою отдаленную родину — медные горы, покрытые рваным покрывалом снегов и мрачные от низкого, быстро догорающего света. Горы, где матери до сих пор закрывают рот пыльными шерстяными платками, но уже все реже ходят в холодную мечеть бормотать молитвы перед

аллахом, проклявшим весь мир в бессильной злобе на большевиков.

В ясные ночи с этих гор под бренькание и блеяние стад виден купол синих огней над Батумом, похожий на далекий рассвет. Матери вздыхают, вспоминая дочерей. Они терпеливо ждут лета, когда дочери приедут в отпуск и привезут рассказы о неправдоподобной независимой жизни.

Матери плачут, вспоминая, как тугоусые злые отцы не смеют кричать на дочерей, как кричат на них, беспомощных старух, а чужие мужчины первыми приветствуют их дочерей и уступают им дорогу.

По домам идет слух о старухе Фадимэ, не выдержавшей разлуки с дочерью, бросившей своего старика — да будет он проклят со своим табаком и ленью! — и ушедшей в Батум на фабрику. Горцы ждали, примут ли Фадимэ, не прогонят ли ее обратно.

Фадимэ приняли, и она работает рядом с дочерью, не снимая платка. Дочь смеется над ней, но старуха терпит и виновато улыбается, — привычка, только привычка, без платка ей все равно холодно.

Падико делает вид, что верит старухе, и никогда с ней не спорит о платке.

3. Погоня за нутрией

Этот случай мне рассказал лучший в Колхиде охотник-мингрел Гулия.

Ранней весной Гулия пошел на охоту к старому, давно заброшенному каналу Недоард, в глубину Потийских болот. Дело было рискованное, малейший неосторожный шаг грозил гибелью в трясинах. Гулия достал дощатую дырявую лодку и пробрался на ней в Недоард. По каналу, как по трубе, стремительно валила мутная вода. Пристать было некуда — берега заросли ольхой, перевитой лианами.

Гулия убил нескольких уток и собирался уже выбраться на сухое место, но внезапно окаменел — на берегу сидел, вылизывая шерсть, странный зверь, похожий не то на гигантскую крысу, не то на бобра. Во всяком случае, это не была выдра, — выдру Гулия ни с чем спутать не мог.

Гулия приложился и выстрелил. Зверь был убит наповал. Гулия долго переворачивал его ружейным стволом, боясь взять руками, — впервые в жизни он видел такое косматое и страшное животное с четырьмя желтыми лошадиными резцами, острыми, как новенькие бритвы.

Гулия принес добычу в Поти, в союз охотников,

где и был немедленно изобличен в браконьерстве и предан суду.

На суде выяснилось, что убита нутрия — аргентинское водяное животное. Год назад Союзпушнина выпустила несколько нутрий в Потийские болота для размножения. Гулия об этом не знал. Он очень извинялся перед судом, разводил руками и недоумевал: «Что же это, кацо? Кто говорит, что можно бить запрещенного зверя, вышла ошибка из-за незнания».

Суд кончился удачно — Гулия заплатил штраф, а союз охотников назначил его как лучшего знатока болот наблюдателем за нутрией.

Жизнь потекла спокойно, но летом из Батума приехал с русской экспедицией комсомолец-аджарец Али Сахарадзе, и начались неприятности.

Гулия потом долго жаловался на Али всему Поти — чистильщикам сапог, заведующим чайными, кустарям, изготовляющим курительную бумагу, и даже музыкантам в городском саду.

— Понимаешь, кацо, зачем приехали? Считать, сколько зверя вывелось. В чем дело? Как считать, что считать, как считать, когда зверь к себе не пускает, за двести шагов скачет в воду! Хватают меня, — едем! Как ехать, когда в Недоарде вода идет быстрее поезда и кругом вода идет и нет ни

одного сухого места! Русские начали думать, но Али сказал: «Ехать, и ничего больше; вы Гулию не слушайте, он трус». Я пожал плечами. С кем я буду спорить, с мальчишкой? Он спрашивал меня, видел ли я молодых нутрий. Я сказал: «Видел четырех, видел ихнюю нору, околю валяется рыба». Он смеется. «Ты, видно, там совсем не был, старик. Зачем выдумываешь? Этот зверь рыбы не ест, а кушает только корни от водяной травы». И мы поехали. И в озере Палеостом нас заливало водой, я хотел повернуть в Поти, но Али не позволил. И в Недоарде нас несло, как тушу буйвола, привязанную к пароходу, и трещали весла, и я хотел повернуть обратно, но Али не позволил.

Двадцать дней, кацо, мы просидели в болоте, двадцать дней, как один, и у нас вышел весь хлеб и весь сыр, и я хотел идти домой, но Али закричал на меня и не позволил.

И на двадцать третий день он увидел наконец выводок нутрий, около тридцати штук, и дал мне папирос и разрешил всем возвращаться обратно. Он дал мне папирос и денег и сказал: «Видно, ты был лучший охотник от Сужи до Хопи только для своего кармана, а я научу тебя быть лучшим охотником для Советской власти».

Я молчал. Что я мог сказать мальчишке! «За

каждую убитую нутрию, — сказал он мне еще, — ты ответишь головой». Зачем мне было говорить об этом? Я сам их берег, как собственных детей. Раз он сказал, что я плохой охотник для Советской власти, я долго думал, что делать: или убить за обиду или послушать умных людей. Умные люди сказали: убить пустяк, а хорошо работать — большое дело, Гулия, очень большое дело! И я начал хорошо работать. Мне даже неинтересно, что за эту работу меня освободили от налога. Я честный человек, я советский человек, а не какой-нибудь бывший меньшевик-бухгалтер.

Надо ли добавлять, что три года назад Али Сахарадзе был совершенно неграмотным.

Поти. Аджаристан, 1933

Воздух метро

Пожилой ученый работал всю ночь. Только на рассвете он захлопнул пожелтевшие книги и постучал в стену к соседу. Сосед-писатель тоже не спал. Он писал книгу о своем времени, рвал написанное и жаловался, что ничего не выходит. Ему казалось, что он потерял чувство времени. Ученый удивлялся. Он был уверен, что каждый день, если уметь видеть и обобщать, говорит о новизне эпохи.

— Вы попросту устали, — говорил ученый. — Когда я очень устаю, я еду в метро первым поездом, на рассвете.

Сегодня они сговорились ехать вместе.

Туманные огни плыли и преломлялись в глубине мраморных стен. Камень жил: в нем отражались целые миры тихого блеска и неуловимых узоров, напоминающих морозные узоры на стеклах. Белизна стен казалась снежной, и удивительный воздух ровной струей шел из тоннелей и как будто усиливал свет ламп: так он был чист и свеж.

— Можно подумать, что рядом море, — сказал писатель и улыбнулся.

В ответ ему улыбнулась девушка, сидевшая в нише у мраморного пилона. Она была в синем лыжном костюме. Лампочки, как пушистые солнца, отражались в изгибах ее натертых до блеска лыж и в се веселых глазах.

Девушка казалась очень маленькой среди мощных архитектурных линий метро: высоких сводов, пилонов и стремительных, плавно уходящих вдаль тоннелей.

— Начинается, — сказал ворчливо ученый. — Еще не было случая, чтобы я не застал здесь девушек, которые ждут юношей, и юношей, поджидающих девушек.

— Им и карты в руки, — сказал писатель. — Ведь они строили метро.

— Я понимаю, — сердито ответил ученый. — Я понимаю, но все-таки каждый раз им завидую. Зависть — низменное чувство, но в данном случае я его не стыжусь.

Бесшумно подошел поезд, похожий на торпеду из стекла, кожи и полированного дерева. Пассажиров почти не было… над головой нависала спящая Москва, затянутая зимним угрюмым дымом.

Против ученого и писателя села девушка с лыжами. Юноши не было, и это развеселило ста-

рика. Он говорил с писателем, но одобрительно поглядывал через очки на девушку, слушавшую его чуть приоткрыв рот.

— Недавно я перечитал один исторический роман, — сказал писатель. — Мне запомнилась почему-то фраза: «Мужик лениво выкапывал пешней замерзший труп стрельца». И мне показалось, что это происходит где-то на берегах Неглинки.

— Вот именно, — согласился ученый. — История Неглинки — это история замечательная. Была грязная река, заросшая по берегам вербами, текла она через деревянную и безалаберную Москву. В ней мочили кожи, купались, по ней плавали гуси и утки. В теперешнем Александровском саду стояла мельница, а в омуте около нее бездельные людишки удили окуней.

Екатерина хотела устроить на Неглинке, у Кузнецкого моста, водопад и поставить над ним свою статую, но из этого ничего не вышло.

По зимам на льду Неглинки бывали жестокие кулачные бои. Школяры греко-славянской академии сворачивали свинчатками хрящи студентам. В двенадцатом году наполеоновская гвардия мыла в Неглинке сапоги. В двадцатых годах прошлого века Неглинку загнали в подзем-

ную трубу. А сейчас мы едем под Неглинкой в этом блестящем вагоне.

— А нам, — неожиданно сказала девушка и смутилась, — а нам из-за этой Неглинки пришлось очень трудно: здесь плывуны. Постоянно прорывалась вода, крепления трещали как спички, перемычки сносило одним ударом. Бывало, работали по пояс в воде. Боялись мы этой Неглинки, но ничего, одолели.

— Вот видите! — укоризненно сказал ученый писателю. — Вот видите! Вы слепой человек.

— Что я должен видеть? Ученый пожал плечами:

— Да посмотрите вы на нее, наконец!

Писатель взглянул на девушку. Она засмеялась, и он засмеялся, и неожиданно ощутил радость от стремительного хода поезда, льющейся за окнами реки огней, гула колес.

На Крымской площади они вышли. Серебряный свет снегов стоял над Парком культуры и отдыха. Кое-где еще горели прозрачные, острые огни.

Девушка побежала по реке на лыжах. Лыжи шуршали и звенели по насту. Девушка оглянулась и помахала на прощанье рукой.

1935

Акварельные краски

Когда при Берге произносили слово «родина», он усмехался. Он не понимал, что это значит. Родина, земля отцов, страна, где он родился, — в конечном счете не все ли равно, где человек появился на свет. Один его товарищ даже родился в океане на грузовом пароходе между Америкой и Европой.

— Где родина этого человека? — спрашивал себя Берг. — Неужели океан — эта монотонная равнина воды, черная от ветра и гнетущая сердце постоянной тревогой?

Берг видел океан. Когда он учился живописи в Париже, ему случалось бывать на берегах Ла-Манша. Океан был ему не сродни.

Земля отцов! Берг не чувствовал никакой привязанности ни к своему детству, ни к маленькому еврейскому городку на Днепре, где его дед ослеп за дратвой и сапожным шилом.

Родной город вспоминался всегда как выцветшая и плохо написанная картина, густо засиженная мухами. Он вспоминался, как пыль, сладкая вонь помоек, сухие тополя, грязные облака над окраинами, где в казармах муштровали

солдат — защитников отечества.

Во время гражданской войны Берг не замечал тех мест, где ему приходилось драться. Он насмешливо пожимал плечами, когда бойцы с особенным светом в глазах говорили, что вот, мол, скоро отобьем у белых свои родные места и напоим коней водой из родимого Дона.

— Трепотня! — говорил Берг. — У таких, как мы, нет и не может быть родины.

— Эх, Берг, сухарная душа! — отвечали с тяжелым укором бойцы. — Какой с тебя боец и создатель новой жизни, когда ты землю свою не любишь, чудак. А еще художник.

Может быть, поэтому Бергу и не удавались пейзажи. Он предпочитал портрет, жанр и, наконец, плакат. Он старался найти стиль своего времени, но эти попытки были полны неудач и неясностей.

Годы проходили над Советской страной, как широкий ветер, — прекрасные годы труда и преодолений. Годы накапливали опыт, традиции. Жизнь поворачивалась, как призма, новой гранью, и в ней свежо и временами не совсем для Берга понятно преломлялись старые чувства — любовь, ненависть, мужество, страдание и, наконец, чувство родины.

Как-то ранней осенью Берг получил письмо от художника Ярцева. Он звал его приехать в муромские леса, где проводил лето. Берг дружил с Ярцевым и, кроме того, несколько лет не уезжал из Москвы. Он поехал.

На глухой станции за Владимиром Берг пересел на поезд узкоколейной дороги.

Август стоял жаркий и безветренный. В поезде пахло ржаным хлебом. Берг сидел на подножке вагона, жадно дышал, и ему казалось, что он дышит не воздухом, а удивительным солнечным светом.

Кузнечики кричали на полянах, заросших белой засохшей гвоздикой. На полустанках пахло немудрыми полевыми цветами.

Ярцев жил далеко от безлюдной станции, в лесу, на берегу глубокого озера с черной водой. Он снимал избу у лесника.

Вез Берга на озеро сын лесника Ваня Зотов — сутулый и застенчивый мальчик.

Телега стучала по корням, скрипела в глубоких песках. Иволги печально свистели в перелесках. Желтый лист изредка падал на дорогу. Розовые облака стояли высоко, в небе над вершинами мачтовых сосен.

Берг лежал в телеге, и сердце у него глухо и

тяжело билось.

«Должно быть, от воздуха», — думал Берг.

Озеро Берг увидел внезапно сквозь чащу поредевших лесов. Оно лежало косо, как бы подымалось к горизонту, а за ним просвечивали сквозь тонкую мглу заросли золотых берез. Мгла над озером висела от недавних лесных пожаров. По черной, как деготь, прозрачной воде плавали палые листья. На озере Берг прожил около месяца. Он не собирался работать и не взял с собой масляных красок. Он привез только маленькую коробку с французской акварелью Лефранка, сохранившуюся еще от парижских времен. Берг очень дорожил этими красками.

Целые дни он лежал на полянах и с любопытством рассматривал цветы и травы. Особенно его поразил бересклет, — его черные ягоды были спрятаны в венчик из карминных лепестков. Берг собирал ягоды шиповника и пахучий можжевельник, длинную хвою, листья осин, где по лимонному полю были разбросаны черные и синие пятна, хрупкие лишаи и вянущую гвоздику. Он тщательно рассматривал осенние листья с изнанки, где желтизна была чуть тронута легкой свинцовой изморозью.

В озере бегали оливковые жуки-плавунцы,

тусклыми молниями играла рыба, и последние лилии лежали на тихой поверхности воды, как на черном стекле.

В жаркие дни Берг слышал в лесу тихий дрожащий звон. Звенела жара, сухие травы, жуки и кузнечики. На закатах журавлиные стаи с курлыканьем летели над озером на юг, и Ваня каждый раз говорил Бергу:

— Кажись, кидают нас птицы, летят к теплым морям.

Берг впервые почувствовал глупую обиду, — журавли показались ему предателями. Они бросали без сожаления этот пустынный, лесной и торжественный край, полный безыменных озер, непролазных зарослей, сухой листвы, мерного гула сосен и воздуха, пахнущего смолой и болотными мхами.

— Чудаки! — замечал Берг, и чувство обиды за пустеющие с каждым днем леса уже не казалось ему смешным и ребяческим.

В лесу Берг встретил однажды бабку Татьяну. Она приплелась издалека, из Заборья, по грибы.

Берг побродил с ней по чаще и послушал неторопливые Татьянины рассказы. От нее он узнал, что их край — лесная глухомань — был знаменит с давних-предавних времен своими живописца-

ми. Татьяна называла ему имена знаменитых кустарей, расписывавших деревянные ложки и блюда золотом и киноварью, но Берг никогда не слышал этих имен и краснел.

Разговаривал Берг мало. Изредка он перебрасывался несколькими словами с Ярцевым. Ярцев целые дни читал, сидя на берегу озера. Говорить ему тоже не хотелось.

В сентябре пошли дожди. Они шуршали в траве. Воздух от них потеплел, а прибрежные заросли запахли дико и остро, как мокрая звериная шкура.

По ночам дожди неторопливо шумели в лесах по глухим, неведомо куда ведущим дорогам, по тесовой крыше сторожки, и казалось, что им так и на роду написано моросить всю осень над этой лесной страной.

Ярцев собрался уезжать. Берг рассердился. Как можно было уезжать в разгар этой необыкновенной осени. Желание Ярцева уехать Берг ощутил теперь так же, как когда-то отлет журавлей, — это была измена. Чему? На этот вопрос Берг вряд ли мог ответить. Измена лесам, озерам, осени, наконец, теплому небу, моросившему частым дождем.

— Яостаюсь, — сказал Берг резко. — Можете бе-

жать, это ваше дело, а я хочу написать эту осень.

Ярцев уехал. На следующий день Берг проснулся от солнца. Дождя не было. Легкие тени ветвей дрожали на чистом полу, а за дверью сияла тихая синева.

Слово «сияние» Берг встречал только в книгах поэтов, считал его выспренним и лишенным ясного смысла. Но теперь он понял, как точно это слово передает тот особый свет, какой исходит от сентябрьского неба и солнца.

Паутина летала над озером, каждый желтый лист на траве горел от света, как бронзовый слиток. Ветер нес запахи лесной горечи и вянущих трав.

Берг взял краски, бумагу и, не напившись даже чаю, пошел на озеро. Ваня перевез его на дальний берег.

Берг торопился. Леса, наискось освещенные солнцем, казались ему грудами легкой медной руды. Задумчиво свистели в синем воздухе последние птицы, и облака растворялись в небе, подымаясь к зениту.

Берг торопился. Он хотел всю силу красок, все умение своих рук и зоркого глаза, все то, что дрожало где-то на сердце, отдать этой бумаге, чтобы хоть в сотой доле изобразить великолепие этих

лесов, умирающих величаво и просто.

Берг работал как одержимый, пел и кричал. Ваня его никогда таким не видел. Он следил за каждым движением Берга, менял ему воду для красок и подавал из коробки фарфоровые чашечки с краской.

Глухой сумрак прошел внезапной волной по листве. Золото меркло. Воздух тускнел. Далекий грозный ропот прокатился от края до края лесов и замер где-то над гарями. Берг не оборачивался.

— Гроза заходит! — крикнул Ваня. — Надо домой!

— Осенняя гроза, — ответил рассеянно Берг и начал работать еще лихорадочнее.

Гром расколол небо, вздрогнула черная вода, но в лесах еще бродили последние отблески солнца. Берг торопился.

Ваня потянул его руку:

— Глянь назад, глянь, страх какой!

Берг не обернулся. Спиной он чувствовал, что сзади идет дикая тьма, пыль, — уже листья летели ливнем, и, спасаясь от грозы, низко неслись над мелколесьем испуганные птицы.

Берг торопился. Оставалось всего несколько мазков.

Ваня схватил его за руку. Берг услышал стреми-

тельный гул, будто океаны шли на него, затопляя леса.

Тогда Берг оглянулся. Черный дым падал на озеро. Леса качались. За ними свинцовой стеной шумел ливень, изрезанный трещинами молний. Первая тяжелая капля щелкнула по руке.

Берг быстро спрятал этюд в ящик; снял куртку, обернул ею ящик и схватил маленькую коробку с акварелью. В лицо ударила водяная пыль. Метелью закружились и залепили глаза мокрые листья.

Молния расколола соседнюю сосну. Берг оглох. Ливень обрушился с низкого неба, и Берг с Ваней бросились к челну.

Мокрые и дрожащие от холода Берг и Ваня через час добрались до сторожки. В сторожке Берг обнаружил пропажу коробочки с акварелью. Краски были потеряны, — великолепные краски Лефранка. Берг искал их два дня, но, конечно, ничего не нашел.

Через два месяца в Москве Берг получил письмо, написанное большими корявыми буквами.

«Здравствуйте, товарищ Берг, — писал Ваня. — Отпишите, что делать с вашими красками и как их вам доставить. Как вы уехали, я искал их две недели, все обшарил, пока нашел, только сильно

простыл — потому уже были дожди, — заболел и не мог вам раньше отписать. Я чуть не помер, но теперь хожу, хотя еще очень слабый. Папаня говорит, что было у меня воспаление в легких. Так что вы не сердитесь.

Пришлите мне, если есть такая возможность, книгу про наши леса и всякие деревья и цветных карандашей — очень мне охота рисовать. У нас уже падал снег, да стаял, а в лесу, где под какой елочкой — смотришь, и сидит заяц. Летом очень будем вас ждать в наши родные места.

Остаюсь *Ваня Зотов».*

Вместе с письмом Вани принесли извещение о выставке, Берг должен был в ней участвовать. Его просили сообщить, сколько своих вещей и под каким названием он выставит.

Берг сел к столу и быстро написал:

«Выставляю только один этюд акварелью, сделанный мною этим летом, — мой первый пейзан?».

Была полночь. Мохнатый снег падал снаружи на подоконник и светился магическим огнем — отблеском уличных фонарей. В соседней квартире кто-то играл на рояле сонату Грига. Мерно и далеко били часы на Спасской башне. Потом они заиграли «Интернационал».

Берг долго сидел, улыбаясь. Конечно, краски Лефранка он подарит Ване.

Берг хотел проследить, какими неуловимыми путями появилось у него ясное и радостное чувство родины. Оно зрело годами, десятилетиями революционных лет, но последний толчок дал лесной край, осень, крики журавлей и Ваня Зотов. Почему? Берг никак не мог найти ответа, хотя и знал, что это было так.

«Эх, Берг, сухарная душа! — вспомнил он слова бойцов. — Какой с тебя боец и создатель новой жизни, когда ты землю не любишь, чудак!»

Бойцы были правы. Берг знал, что теперь он связан со своей страной не только разумом, не только своей преданностью революции, но и всем сердцем, как художник, и что любовь к родине сделала его умную, но сухую жизнь теплой, веселой и во сто крат более прекрасной, чем раньше.

1936

Вторая Родина

Леса учат человека понимать прекрасное.

Чехов

Чтение географических карт

Еще с детства моим любимым занятием было чтение географических карт. В слова «читать карту» я вкладывал особый смысл. Прочесть карту — это еще не значило разобраться в топографических знаках, определить направление или точно вычислить расстояние от истока до устья извилистой реки.

Я читал карты и странствовал по незнакомым странам. Я создавал в своем воображении таинственные области, нанесенные на карты, и мир казался мне таким же прекрасным и загадочным, каким он кажется и сейчас.

Так же как и большинство людей я не могу сказать, что знаю землю. В силу многих разнообразных причин я вынужден видеть только небольшой клочок земного шара, тогда как вся

земля дана нам для жизни. Я твердо знаю, что революция сотрет границы между странами и весь мир будет открыт каждому, умеющему странствовать и видеть, — мир во всем великолепии и простоте его лесов, озер, морей, прозрачных вод и высокого неба. Но пока мне еще приходится странствовать по картам и вызывать только в своем воображении берега великих материков, отделенных от моей родины тысячами миль воздушного, океанского и сухопутного пути.

Ничего не может быть заманчивее воплощения в жизнь географических карт. Так было, например, с картой Мещорского края.

На топографических картах тот небольшой квадрат, куда нанесен этот край, помечен номером ХП-17.

Изучение Мещорского края началось с того, что в эту измятую и засаленную карту ХП-17 был завернут голландский сыр. Я развернул его, хотел нарезать, но тут же забыл о еде: море лесов зеленело на карте, разлив сухих сосновых боров с островами болот и березовых зарослей расстилался передо мной на столе.

Я рассматривал карту, пытаясь найти на ней знакомый город или железную дорогу, чтобы определить, где находится этот край. Но ни го-

родов, ни дорог не было, если не считать едва заметной узкоколейки, робко тянувшейся по краю лесов.

Леса шумели передо мной на карте, как океаны. В них прятались глухие озера, журавлиные стаи тянули над болотами к югу, где за обширными гарями и песчаными берегами извилистых лесных рек я наткнулся наконец на знакомое имя — «Ока». Значит, край этот лежал где-то здесь, почти рядом, невдалеке от Москвы.

Так, по карте, я открыл для себя Мещорский край. Он тянулся к Северу от Рязани почти до Владимира.

Несколько дней я изучал карту Мещоры. Хотя она была издана в 1930 году, но на ней я нашел белые пятна. Казалось невероятным, что в трехстах километрах от Москвы лежит девственная земля, куда еще не проникали топографы.

Я проследил по карте течение глухих лесных речек — Пры и Солотчи. Берега их были безлюдны, и лишь кое-где карта показывала постоялые дворы на неведомо куда ведущих дорогах и заброшенные смолокурни.

Когда-то это были, очевидно, разбойничьи места, дебри, где тонули в трясинах лоси и крики диких лебедей пугали ленивую озерную рыбу.

Часть моего детства прошла в таких же дремучих лесах. Чтение карты вызвало в памяти множество позабытых вещей: белый дым лесных пожаров, настойчивый стук дятлов, густое пение пчел на полянах, где среди пней растут лиловые бессмертники, и, наконец, заросшие подорожником лесные дороги, опасные, как западня, потому что они тонут в зарослях и никуда не приводят. Дремучие леса! Мы теряем ощущение многих слов, а между тем они точны и образны. Какое иное сравнение может лучше всего передать глухой сумрак и безмолвную чащу лесов, чем слово «дремучий»?!

Карта показывала множество безыменных озер, окруженных мелколесьем и сухими болотами — мшарами. У иных озер были имена, но они вызывали недоумение: в них не было ничего русского. То были озера Сегден, Негарь, Орса, Камгар, Уржа. Названия озер остались от баснословных времен, когда эти места населяло финское племя «мешора».

Озера соединяли тонкие нити каналов. В шестидесятых годах прошлого века генерал Жилинский решил осушить мещорские болота и провел в них запутанную сеть глубоких каналов. Из этой затеи ничего не вышло: болота не обсохли, а каналы

заросли тростником, лилиями и белокрыльником и стали приютом диких уток и бронзовых карасей и вьюнов.

К югу леса редели и за селом Солотчей сменялись неизмеримыми заливными лугами. То была пойма Оки, которую иные ученые не без основания сравнивают с дельтой Нила. В лугах сверкали цепи небольших поемных озер, протоков, стариц, прорв и заводей, а за ними среди широких белых пляжей, нагретых солнцем, струилась зеленоватая и тихая Ока.

За Окой начинались иные земли: рязанские — кудрявые яблочные сады, ржаные поля, рощи, дороги, где пыль, поднятая стадами, пахнет парным молоком. За Окой начинались места, обжитые тысячелетиями, богатые и спокойные.

«Чтение карты» заставило меня поехать в Мещорский край, и с тех пор он стал как бы второй моей родиной.

Черная вода

Чтобы попасть на озеро Сегден, надо доехать по узкоколейке до глухой станции Ласково. На поляне, пахнущей порубкой и простыми полевыми цветами, стоит бревенчатый сруб — станция и

глубокий колодец. Станционный сторож — старик с растрепанной рыжей бородой, прозванный неизвестно кем «Лангбардом» — достанет из колодца ледяной воды. От нее потеют бутылки и ноют зубы. Белые облака лениво плывут над сухими лесами, и если задуматься, то слышно, как падают сосновые шишки и под землей в своих нагретых пещерах трещат медведки. Кузнечики сыплются градом в шершавую, выгоревшую к осени траву.

Дорога на Сегден идет лесами. Неподвижный воздух настаивается на сосновой коре, папоротнике и лекарственном запахе скипидара. Рыжие муравьи ползут полчищами через дорогу, перетаскивая в муравейники высохших золотых ос и шершней. Липкие маслюки вспучивают над землей бурые прошлогодние листья.

Жара дрожит над просеками, и если пристально посмотреть на небо, то видно, как уходят ввысь и растворяются в ее синеве розовые, как бы раскаленные облака.

Потом из лесу потянет сыростью и запахом водяных лилий — тем сложным и свежим запахом, который утоляет жажду, — и в просвете дороги блеснет как бы поставленное наискось синее зеркало — озеро Сегден.

На Сегдене живет сутулый ласковый мальчик Вася Зотов — будущий натуралист и следопыт.

Отец его, Кузьма Зотов, бывший портной из Рязани, кроткий и больной человек, рыбачит на озере на дырявом столетнем челне.

У Зотовых в избе живет прирученная дикая кошка. Она приносит в дом зайчат и глухарей, ловит рыбу и пренебрежительно зевает, поглядывая на редких городских гостей ленивыми зелеными глазами.

Вася Зотов знает Сегден и все соседние озера: Малое, Черненькое, Урженское, Черное и Ласковое. Он обегал все лесные тропы и мшары, осмотрел все глухариные гнезда и проследил медвежьи дороги. Любимая книга Васи — «Картины из жизни природы» Кайгородова. Он ее зачитал до дыр.

Зимой Вася Зотов обматывает ноги онучами — у него нет сапог — и бегает за восемь километров в солотчинскую школу.

Ночевать на Сегдене, как и на всех озерах, нужно под открытым небом. Можно, конечно, ночевать на сеновале у Зотовых, но тогда вы не увидите величавого зрелища лесной и озерной ночи, хотя одинокие звезды и будут светить сквозь дырявую крышу.

Кроме того, у Зотовых не дадут спать петух и корова. Оба они дряхлые старики, и, как всем старикам, им по ночам не спится и приходят в голову печальные мысли. Петух хрипло поет всю ночь безо времени, не соблюдая петушиных часов, и после каждого крика прислушивается, не отзовутся ли соседские петухи. Но вокруг спят черные леса, спит вода в озерах, и ни один петух не откликается даже за краем этой темной земли. Только сова бесшумно пролетит над крышей, да в озере спросонок ударит вялая щука. Петух прислушивается к лесному безмолвью, моргает красными глазами и снова кричит призывно и оглушительно, и в горле у него после каждого крика что-то долго ворчит и затихает.

Корова тяжело стонет всю ночь, и в ее шумных вздохах ясно слышны слова: «Ох, боже мой, боже мой!»

По ночам к озеру подходят волки. Они заунывно и коротко воют в березовых зарослях, и тогда петух громко хлопает крыльями, чтобы разбудить хозяев, а корова ворочается и грозно мычит. У нее нет телят — лупоглазых и тепломордых, но она по старой памяти тревожится за них и мотает рогами, готовясь защищать их от волка.

Ночевать нужно у костра на Холмище — песча-

ном бугре между Сегденом и Черненьким озером, около заросшего канала.

В Сегдене и в Черненьком озере вода, как говорят местные жители, «суровая», — торфяная, черного, глубокого цвета, но совершенно прозрачная. Днем белые водяные лилии лежат целыми созвездиями на этой воде. Ночью лилии закрываются, и в озере вместо них плавают отражения далеких настоящих созвездий: Ориона, Большой Медведицы, Кассиопеи и Стрельца. Но особенно ярко горит Юпитер, прорываясь сквозь заросли волчьей ягоды и кроны мачтовых сотен, а ближе к рассвету низко над горизонтом переливается в необыкновенной ясности воздуха прозрачная Венера.

К четырем часам ночи небо на востоке начинает зеленеть. Береговые заросли стоят на этом небе кущами каких-то пышных и небывалых садов.

Просыпаются птицы. На мшарах курлычут журавли, воркуют горлинки, с тяжелым свистом пролетают над головой дикие утки.

Костер гаснет. Его горький дым сливается с предрассветным туманом. Туман клубится от воды, плывет косматыми островами, подымается до верхушек ольхи и берез, и озеро превращается в море — берегов не видно.

В черной воде и тумане начинает играть рыба. Темные спины щук всплывают над водой и гонят к берегам широкие ленивые круги.

Начинается клев. Челн шуршит по листьям лилий и останавливается у края бездонной заводи. Слышно, как с веток ольхи падает в озеро роса. Вода неподвижно налита в берега, как черное стекло. Белый перяной поплавок стоит, как свеча, и кажется, что все вокруг мертво и неподвижно. Только зотовский петух все голосит в тумане, дожидаясь отклика.

Вдруг поплавок туго и медленно уходит вкось, в таинственные озерные глубины. Бамбуковое удилище гнется, леска режет воду, и видно, как под челном сверкает и извивается большой полосатый окунь.

Над зарослями, лесами и туманами подымается белый шар — восходит огромное летнее солнце. Медленно раскрываются лилии.

Уже просвечивает высокая голубизна неба, и первая волна нагретого лесного воздуха сдувает туман. Впереди яркий день, зной, купанье с песчаного берега и пляска белых поплавков в упругой воде.

Из Сегдена на Черненькое озеро ведет узкий канал. Мы с трудом перетаскивали по нему челн,

путаясь в зарослях ежевики. Мох свисал с берегов мягкими пластами, и весь челн покрывался яркой зеленой пылью — спорами кукушкиного льна. Вася Зотов научил нас доставать из мха эту удивительную пыль, похожую на молотый изумруд. Она была спрятана в маленькой чашечке с легко отлетающей крышкой.

Мы пересыпали ее на ладонях и жалели о том, что до сих пор никто не нашел способа делать из этой пыли золеную краску. Ни на одной из картин великих мастеров я не видел такого насыщенного и блестящего зеленого цвета!

Обсыпанный зеленой пылью челн медленно вплывал в круглое Черненькое озеро. Там всегда стояла тишина, и черный блеск воды качался под ветхим днищем челна непроницаемой упругой массой.

Все было черным в этом озере: и вода, и илистое дно, и коряги, и окуни, как будто покрыты копотью. Только лилии сверкали, как снежные шары, в его спокойных заливах.

Однажды вечером на Черненьком озере нас захватила гроза. Приближалась осень. Косяки журавлей летели над мелколесьем к югу, откуда розовыми горами вздымались к зениту тяжелые и пышные облака. Зловещий свет шел от воды, и

далеко за мшарами ворчал хмурый гром. Первая молния гигантской трещиной расколола озерную воду, и вздрогнули и тревожно заговорили сосны. Птицы низко летели к северу, уходя от грозы. Костер испуганно заметался под первыми ударами ветра.

Потом пришла грозовая ночь, вся в мутном розовом блеске, в громыханье дымного неба, в железном шуме дождя. Раскаты возникали в непроглядной дали, медленно катились по горизонту, сотрясая леса и болота, и глохли на востоке, где в серой волчьей мгле шумели свинцовым ночным прибоем безвестные лесные озера.

Ветер бил в лицо холодными каплями. Внутри каждой капли лопались пузырьки свежего воздуха. Ночь несла дикие запахи березовой листвы, грибов и гари, и свежесть входила в легкие с каждым порывом ночного веселого ветра.

Над нами проходила ночная гроза, обыкновенная гроза, но нас не оставляло чувство, что такую грозу мы видим впервые в жизни.

Из долгих скитаний по земле, из опыта всей жизни я знал, что ничто не повторяется, что нет одинаковых вещей и что каждый день и час этой жизни не похож на другие и наполнен только одному ему свойственными чертами.

Трудно сосчитать, сколько дней, то моросивших теплым дождем, то шумных от ветра, то ярких, как летнее небо, прошло на Сегдене, на Черненьком озере, на Урженском озере, где вода фиолетового цвета и чирки ныряют около поплавков, на Великом озере с его затопленными на дне тысячелетними лесами и плавучим берегом из водяной травы и, наконец, на Черном озере, где в траве выше человеческого роста прячутся барсуки, волчата подходят к костру на сорок шагов, жуки-плавунцы склевывают с удочек червей, а глухари, объевшиеся брусникой, ломают заросли, как медведи.

Но и сюда, в эту глухомань, доходят иногда неясные отзвуки иной человеческой жизни.

Однажды на рассвете мы услышали на Черном озере жалобное пенье пастушеского рожка. До тех пор в этих местах мы слышали только свист птиц и плеск рыбы, шум леса и волн и свои собственные человеческие голоса. Рожок пел в лесах очень далеко — очевидно, пастух звал заблудившуюся корову. Мелодия рожка показалась знакомой. Мы узнали в ней песню пастушеского рожка из «Евгения Онегина». Она затихала где-то за краем лесов, временами ее уже заглушал шелест осиновых листьев: осины шелестят и

трепещут даже в безветрие.

Чайковский вторгся в глухие лесные дебри, по его тотчас же вытеснили мысли о Пушкине. Когда входишь в самую сердцевину нашей жизни, то внезапно узнаешь, что Пушкин сказал почти все; что о нем нельзя забыть, как нельзя днем не видеть солнца.

Куда бы меня ни забрасывала судьба: и в горы Кавказа, и на берега Черного моря, и под слюдяное небо Онежского озера, и в сосновые боры Мещорского края, — всюду в памяти возникали звенящие строфы простых и точных пушкинских стихов.

Здесь, в глуши, следуя совету Пушкина, я «старался наблюдать различные приметы» и был, как всегда, поражен верностью пушкинских строф.

Особенно осень была полна Пушкиным. «Роняет лес багряный свой убор, сребрит мороз увянувшее поле» — даже эти две строки передали осень с точностью необыкновенной и с неизъяснимой прелестью подлинной живой поэзии.

Последняя строка звенела, как звенят под ногой ломкие, покрытые первым инеем стебли некошеной травы. «Сребрит мороз увянувшее поле…»

Трава и ветер

Луга за Солотчей в сумерки похожи на море. Как в море, садится солнце в обширные пространства трав и тусклыми маяками горят на горизонте сигнальные огни на берегах Оки. Так же как в море, над лугами дуют широкие ветры, и высокое небо опрокинулось бледной зеленеющей чашей.

Луга — это небо, ветер, шелест трав, крики ястребов и нагромождения грозовых туч на головокружительной высоте над землей.

Только в лугах можно увидеть, как торжественно и зловеще накапливаются грозы, увидеть их рожденье, слоистость розовых, лиловых, ослепительно-белых и желтых молний и услышать гром, сотрясающий самые недра земли.

Только в лугах можно почувствовать, как иногда упруг и даже тверд ветер, и увидеть на закате, как низкое солнце просвечивает через венчики гвоздик пурпурным огнем. Кусты шиповника пылают оранжевыми каплями терпких сухих плодов, и едкая роса блестит в густой траве и брызжет на руки.

В сумерки в лугах протяжно и ласково голосят бабы, скликая заблудившихся телят.

— Тялуш! Марусь! Тялуш! — кричат бабы, и, перекликаясь с бабами, в траве отзываются перепелки.

Скворцы трескучими стаями носятся над скошенной травой, и орланы-белохвосты часами парят над луговыми озерами, выслеживая водяных крыс и глупых уклеек.

В лугах теряется заросшая кугой и кувшинкой Старица — древнее русло Оки — и прячется много луговых озер и протоков. Из озер самое глубокое — Промоина, а из протоков самый широкий и многоводный — Прорва.

Каждый раз, когда я попадаю на Прорву или Старицу, я жалею о том, что я не натуралист и ботаник. Часами можно лежать в густых прибрежных зарослях на Прорве и рассматривать неслыханное разнообразие трав, цветов и кустарников. Там растут чертополох с колючими цветами величиной в кулак и грибы-дождевики, огромные, как тыквы. Вьюнок заплетает чаши серебристых ив, полощущих в глубокой и тихой воде свои ветки. Мальки прячутся в гуще затопленных ивовых листьев. Плакун-трава стоит высокими красными островами над путаницей ржавых корней, сползающих в воду и заросших черно-зеленой ноздреватой губкой-бодягой.

Прорва — царство ив с выжженными молнией стволами. Во время ветра берега Прорвы тонут в серебристом, свинцовом блеске: то сверкает под солнцем изнанка ивовых листьев, как бы сбрызнутая серой росой. Старые ивы подымают над этим шумящим живым серебром тяжелые кущи черной листвы и роняют с нее в траву зеленых гусениц с оранжевыми пятнами на теле. Шиповник цветет в непролазных зарослях, от него тянет едва уловимым дыханием роз. Зонтичные травы теснятся по крутоярам, и повилика, ромашка и цикорий прорываются сквозь цепкие сети ежевики.

Стволы ив изогнуты столетними ветрами, завязаны в узлы и высушены солнцем. Они низко нависают над омутами и зарослями хвоща и стрелолистника. В засохших лишаях на ивовой коре живут тысячи красных божьих коровок. Они падают при каждом порыве ветра на листья кувшинок в темную воду, где тихо ходят стаи голубых го-ловлей.

А ночью на Прорве особенно темно от ив, звезды не могут прорваться сквозь их густую листву, и только на далеком берегу, за озером Хотец, дымят костры — там мальчики стерегут лошадей, согнанных в ночное. Среди ночи над лесами раз-

горается мутный, тяжелый пожар: подымается луна, и ее багровый свет обнаруживает на небе гряды редких и неподвижных облаков.

Тишина стоит под шатрами ив — не слышно даже плеска воды о прибрежные корни, — тишина такая глубокая, что первая капля дождя, если он начинается ночью, бьет о полотнище палатки, как отвесный камень.

Изредка где-то в гуще ночи прокричит на Оке пароход, и если долго прислушиваться, то можно услышать тяжелый плеск пароходных колее.

В деревнях за Окой: в Окоемове, Богослове, Новоселках — все спит, нет огней, и только по многоголосому крику петухов можно догадаться, что где-то недалеко есть человеческое жилье.

На Прорве живет паромщик Степан — одноглазый сердитый старик, враль и корзинщик. Весь день он сидит у воды и плетет кошелки из ивовых прутьев, окруженный острым и терпким запахом молодой ивовой коры.

Если подвернется прохожий человек, то Степан, раньше чем перевезти его через Прорву, расскажет несколько баснословных историй о том, что Прорва соединяется с морем подземной трубой и что в Прорве живет щука с телячьей мордой.

Но так как прохожих людей мало, то Степан

весь день бормочет и спорит сам с собой.

— Не-е-ет, милай, — говорит он хитро и сплевывает вводу, — как ты ни чеши языком, а колхоз не умреть! Нет ему нужды помирать: он навеки поставлен. Не умреть!

С бабами Степан разговаривает коротко и сурово.

— Надысь, — жалуется баба, — натерпелась я страху. Иду из Рязани по-над Окой, а на берегу лежат голые отдыхающие, калятся на солнце. Нешто можно!

— На пясках? — строго спрашивает Степан.

— Чего?

— На пясках лежат, спрашиваю?

— Известно, на пясках.

— На пясках можно, — коротко решает Степан, и баба успокаивается.

Когда Степану надоедают разговоры с самим собой и с бестолковыми бабами, он удит с парома рыбу и плюет на червей так громко, что нам слышно в зарослях за поворотом. Мы смеемся.

Прорва — государство ив и прибрежных зарослей. Старица — целый мир водяных растений. Старица у берегов густо заросла кувшинкой. Нужно долго пробиваться на челноке сквозь упругие заросли, чтобы попасть на чистую воду.

Вода в Старице зеленого таинственного цвета. На глубине этот цвет переходит в черный.

В омуты на Старице лодка вплывает как в громадный тихий аквариум. Тучи мальков стоят в красных зарослях водяной елочки, золотые красноперки с огненными плавниками плещутся в розовой водяной гречихе. На куге растут колючие шишки, похожие на каштаны в скорлупе; к прочным и толстым стеблям этих шишек мы смело привязываем лодку во время любого ветра.

Растительность на Старице гораздо богаче и пышнее, чем на других луговых озерах. Листья лилий по величине почти не уступают молодым листьям тропической виктории-регии. Когда на закате играет рыба, десятки плотиц выскакивают на листья и долго бьются о них и трепещут, прежде чем им удается уйти в воду. Громадные спиральные улитки живут на этих листьях вместе с желтыми божьими коровками и жуками-водомерами.

Среди лилий черным островом стоит куга. В ней живут крошечные и зябкие птицы — камышевки. Они часто принимают за камыш наши бамбуковые удилища и качаются и трещат на них, поглядывая на нас веселыми черными глазами.

У берегов стенами тянутся осока, стрелолист и незнакомые растения с шуршащими листьями, будто сделанными из жести. Сладкий и влажный запах лилий вызывает головную боль. Розовые сухие цветы сусака, собранные в высокие букеты, растут на мелких местах, где вода прогрета до дна и на песке переплетаются дорожки, оставленные ракушками.

В Старице водятся большие лещи — красивая и странная рыба, плоская как доска, окрашенная в розово-пепельный цвет. Ловят их на глубоких местах в полной тишине: даже зажженная спичка может спугнуть медлительного и осторожного леща. Ловля лещей — одно из самых трудных и захватывающих занятий. Пойманный лещ идет из глубины, качаясь и вспенивая воду, весь розовый и серебряный, в брызгах и отблесках солнца. Его плавники и хвост сверкают черным лаком, и невольно он кажется сказочным хозяином всех этих причудливых зарослей и затишливых, безветренных вод.

На Старице даже в сильный ветер вода неподвижна, и на ней нет ряби: высокие берега, поросшие крушиной и ольхой, и камыш опоясывает омуты непроницаемой для ветра стеной.

Я любил ездить на Старицу во время дождя, в

те дни, когда дым из труб ложится на огороды и деревня пахнет мокрой соломой и холодными яблоками.

Из-за безветрия и тихой воды обычный и даже докучливый дождь превращался на Старице в необыкновенное зрелище. Еще до того, как первые капли дождя падали на лицо и на руки, был уже слышен тонкий стеклянный звон. Это дождь пел на воде. Потом звон усиливался и переходил в глухое шипение пара, а в разгар дождя все заглушал мерный и торжественный плеск. Тысячи капель, ударяясь о воду, подскакивали вверх и оставляли на воде круглые выемки, полные пузырей и легкой пены. Казалось, что с неба льются не капли дождя, а легкий серебряный град.

Дождь проходил, и в необыкновенной ясности воздуха и речной синеве вспыхивали ржавым огнем сосновые боры, вплотную подступившие к лугам. Приближались вечер, тишина, розовые дали, мычание стад и, наконец, ночь, когда белые и холодные созвездия будут неподвижно отражаться до утра в озерах и даже в глухой воде деревенских колодцев, куда ветер сбросил вороха желтых листьев.

Желтый свет

Я проснулся серым утром. Комната была залита желтым светом, как будто от керосиновой лампы. Свет шел из окна снизу и ярче всего освещал бревенчатый потолок.

Странный свет — неяркий и неподвижный — был непохож на солнечный. Это светили осенние листья. За ветреную и долгую ночь сад сбросил сухую листву, она лежала шумными грудами на черной земле и распространяла тусклое сияние. От этого сияния лица людей казались загорелыми, а страницы книг на столе как будто покрылись слоем старого воска.

Так началась осень. Для меня она пришла сразу в это утро. До тех пор я ее не замечал: в саду еще не было запаха прелой листвы, вода в озерах не зеленела и жгучий иней еще не лежал по утрам на дощатой крыше.

Осень пришла внезапно. Так приходит временами ощущение счастья от самых незаметных вещей: от далекого пароходного гудка на Оке или от случайной улыбки, — так приходит после тяжелой болезни глубокий, освежающий сон.

Осень пришла врасплох и завладела землей,

садами и реками, лесами и воздухом, полями и птицами. Все сразу стало осенним.

В саду суетились синицы. Крик их был похож на звон разбитого стекла. Скворцы висели вниз головами на ветках, заглядывали в окно из-под листьев клена и издавали щелканье, похожее на стук молотка о подметку: в соседнем дворе жил весельчак — деревенский сапожник, — и скворцы передразнивали его и дрались из-за скворечни.

Каждое утро в саду, как на острове, собирались перелетные птицы. Под свист, клекот и каркань в ветвях подымалась суматоха, и с деревьев сыпались ливни сбитой листвы. Только днем в саду было тихо: беспокойные птицы улетали на юг, — а на рассвете за окном опять подымали возню перелетные птицы. Начался листопад. Листья падали дни и ночи. Они то косо летели по ветру, то отвесно ложились в сырую траву. Леса моросили дождем облетавшей листвы. Этот дождь шел неделями. Только к концу сентября перелески обнажились, и сквозь чащу деревьев стала видна синяя холодная даль сжатых полей.

Тогда же безответный старик Прохор, рыболов и корзинщик (в Солотче почти все старики делаются с возрастом корзинщиками), рассказал мне

сказку об осени; до тех пор я эту сказку нигде не слышал: должно быть, Прохор ее выдумал сам.

— Ты гляди кругом поострей, — говорил мне Прохор, ковыряя шилом лапоть, — ты присматривайся, милый человек, чем каждая птица или, скажем, иная какая живность дышит. Гляди, объясняй. А то скажут: зря учился. К примеру, лист осенью слетает, а людям и невдомек, что человек в этом деле — главный ответчик. Человек, скажем, выдумал порох, враг его разорви вместе с порохом. Сам я тоже баловался. В давние времена сковали деревенские кузнецы первое ружьишко, набили порохом, и попало то ружьишко дураку. Шел дурак лесом и увидел, как иволги летят под небесами, летят желтые веселые птицы и пересвистываются, зазывают гостей. Дурак ударил по ним из обоих стволов — и полетел золотой пух на землю, упал на леса, и леса посохли, пожухли и в одночасье опали, а иные листья, куда попала птичья кровь, покраснели и тоже осыпались. Небось видел в лесу, есть лист желтый и есть лист красный. До того времени птица зимовала у нас. Даже журавль и тот никуда не подавался, а леса лето и зиму стояли в листах, цветах и грибах. И снега не было. Погоди смеяться-то, завели нынче моду над стариками смеяться! Не было зимы, говорю. Не

было! Да на кой она ляд сдалась нам, зима, скажи на милость?! Какой с нее интерес? Убил дурак первую птицу — и загрустила земля. Начались с той поры листопады, и мокрая осень, и листобойные ветры, и зимы — и птица испугалась, от нас отлетает, обиделась на человека. Так-то, милый, выходит, что мы себе навредили, и надобно нам ничего не портить, а крепко беречь.

— Что беречь?

— Ну, скажем, птицу разную, или лес, или воду, чтобы прозрачность в ней была. Все, брат, береги, а то будешь землей швыряться — дошвыряешься до погибели.

Я изучал осень упорно и долго. Для того чтобы увидеть что-нибудь по-настоящему, надо убедить себя в том, что ты видишь это впервые в жизни. Так было и с осенью. Я уверил себя, что эта солотчинская осень первая и последняя в моей жизни. Это помогло мне пристальнее всмотреться в нее и увидеть многое, чего я не видел раньше, когда осени проходили не оставляя никакого следа, кроме памяти о мрачных дождях, слякоти и мокрых крышах московского трамвая.

Я узнал, что осень смешала все чистые краски, какие существуют на земле, и нанесла их на далекие пространства, покрытые золотом лесов и

синевой холодного неба.

Я видел сухую листву, не только золотую и пурпурную, но и алую, фиолетовую, коричневую, черную, серую и почти белую, как будто серебряную. Краски казались особенно мягкими из-за осенней мглы, неподвижно висевшей в воздухе. А когда шли дожди, мягкость красок сменялась блеском: небо, покрытое облаками, все же давало достаточно света, чтобы мокрые леса могли загореться вдали как величественные багряные и золотые пожары. В сосновых чащах дрожали от холода березы, осыпанные сусальным золотом поредевшей листвы. Эхо от ударов топора, далекое ауканье баб и ветер от крыльев пролетевшей птицы стряхивали эту листву: так непрочно она держалась на ветках. Вокруг стволов лежали широкие круги из палых листьев. Деревья начинали желтеть снизу: я видел осины, красные внизу и совсем еще зеленые на верхушках.

Однажды осенью я ехал на лодке по Прорве. Был полдень. Низкое солнце висело на юге. Его косой свет падал на темную воду, отражался от нее; полосы солнечных отблесков от волн, поднятых веслами, мирно бежали по берегам, подымаясь от воды и потухая в вершинах деревьев.

Полосы света проникали в самую глубину трав

и кустарников, и на одно мгновение берега вспыхивали сотнями красок, как будто солнечный луч ударял в россыпи драгоценной разноцветной руды. Свет открывал го черные блестящие стебли травы с оранжевыми засохшими ягодами, то огненные шапки мухоморов, как будто забрызганные мелом, то слитки слежавшихся дубовых листьев и желтые спины божьих коровок.

Часто осенью я пристально следил за опадающими листьями, чтобы поймать ту незаметную долю секунды, когда лист отделяется от ветки и начинает падать на землю, но это мне долго не удавалось. Я читал в старых книгах слова о том, как шуршат падающие листья, но я никогда не слышал этого звука. Если листья и шуршали, то только на земле, под тяжелыми ногами человека. Шорох листьев в воздухе казался мне таким же неправдоподобным, как рассказы о том, что весной слышно, как прорастает трава.

Я был, конечно, неправ. Нужно было время, чтобы слух, отупевший от визга и скрежета городских улиц, мог отдохнуть и уловить очень чистые и точные звуки простой осенней земли.

Как-то поздним вечером я вышел в сад, к колодцу. Я поставил на сруб тусклый керосиновый фонарь «летучую мышь» и достал воды. В ведре

плавали желтые листья. Они были всюду. От них нигде нельзя было избавиться. Черный хлеб из пекарни приносили с прилипшими к нему мокрыми листьями. Ветер бросал горсти листьев на стол, на койку, на пол, на книги, а по дорожкам сада было трудно ходить: приходилось идти по листьям как по глубокому снегу. Листья мы находили в карманах своих дождевых плащей, в кепках, в волосах — всюду. Мы спали на них и насквозь пропитались их винным, горьким запахом.

Бывают осенние ночи, оглохшие и немые, когда безветрие стоит над черным лесным краем, и только колотушка сторожа глухо доносится с деревенской околицы.

Была такая ночь. Фонарь освещал колодец, старый клен под забором и расстрепанный ветром и дождями куст настурции на пожелтевшей клумбе.

Я посмотрел на клен и увидел, как осторожно и медленно отделился от ветки красный лист, вздрогнул, на одно мгновение остановился в воздухе и косо начал падать к моим ногам, чуть шелестя и качаясь. Впервые я услышал шелест падающего листа — неясный звук, похожий на детский шепот, и почему-то у меня забилось

сердце.

Ночь стояла над притихшей землей, глухая звездная ночь. Разлив звездного блеска был ярок, почти нестерпим. Я зажмурился. Никогда, ни летом, ни зимой, я не видел такого неба. Оно как бы слилось с темнотой лесов, исчезла граница между ним и землей, и осенние созвездия блистали в ведре с водой и в маленьком оконце избы с такой же напряженной силой, как и на небе.

Осенние созвездия Персея и Ориона, туманное пятно Стожаров и Близнецы проходили над землей свой медлительный закономерный путь, дрожали в черной воде озер, тускнели в зарослях, где дремали волки, и отражались на чешуе рыб, спавших на отмелях в Старице и Прорве.

К рассвету на востоке загорался зеленый Сириус. Его низкий огонь всегда запутывался в косматой листве ив. Юпитер закатывался в лугах над черными стогами и сырыми дорогами, а Сатурн подымался с другого края неба, из лесов, забытых и брошенных по осени человеком.

Звездная ночь проходила над землей, роняя холодные искры метеоров, в шелесте сухих тростников, в терпком запахе осенней воды.

В конце осени я встретил на Прорве Прохора. Седой и косматый, облепленный рыбьей чешуей,

он сидел под кустами тальника и удил окуней. На взгляд Прохору было сто лет, не меньше. Он улыбнулся беззубым ртом, вытащил из кошелки толстого очумелого окуня и похлопал его по жирному боку — похвастался добычей.

До вечера мы удили вместе, жевали черствый хлеб и вполголоса разговаривали о недавнем лесном пожаре.

Он начался около деревушки Лопухи, на поляне, где косари забыли костер. Дул суховей. Огонь быстро погнало на север. Он шел со скоростью поезда, двадцать километров в час. Он гудел, как тысячи самолетов, идущих бреющим полетом над самой землей.

В небе, затянутом дымом, солнце висело как тяжелый багровый паук на плотной седой паутине. Гарь разъедала глаза. Падал медленный дождь из золы. Он покрывал серым налетом тихую речную воду. Иногда с неба слетали березовые листья, превращенные в пепел. Они рассыпались в тонкую пыль от малейшего прикосновения.

Стаи диких птиц бросались в огонь и сгорали. Медведи с обожженными лапами залезали в озера и тонули в глубоком илу. Змеи не успевали уйти от огня; после пожара деревенские мальчишки приносили с болот много змеиных

обгорелых шкурок.

По ночам угрюмое и тусклое зарево металось и клубилось на востоке, по дворам тоскливо мычали коровы, ржали лошади, и на горизонте вспыхивали белые сигнальные ракеты — это красноармейские части, гасившие пожар, предупреждали друг друга о приближении огня.

— Я в ту пору, перед самым пожаром, — тихо рассказывал Прохор, — подался к Малому озеру, взял ружьишко. Встретился мне заяц, рыжий, с рваным ухом. Я выстрелил, промахнулся: стар стал глаз у меня, нет-нет да и мигнет не ко времени. Или, скажем, слеза набежит. Плохой я охотник.

Днем это была самая духота. Я от нее сомлел. Лег под березу, заснул: так-то легче дожидаться, пока жар к вечеру свалит. Проснулся от гари, вижу: ветер дым стелет над озером, глаза щиплет, дышать нечем. Пожар, а огня не видно.

Ну, думаю, злой мне вышел конец. Леса стояли в ту пору сухие, как порох. Куда я пойду, куда подамся? Все одно — огонь задавит, пересечет мой путь, никуда не пустит. Чего делать?

Побежал я по ветру, а на том краю озера уже пламя шумит по осиннику, лижет мшары, ест траву на глазах. Дыхания у меня уже нету, сердце

колотится, чую я, наступает огонь.

Бегу, сослепу не знаю куда, ничего почитай не вижу, спотыкаюсь о кочки, а тут прямо из-под ног скачет заяц и бежит вперед меня безо всякого страха, хромает, стрижет ушами. Я за ним, думаю, может, вдвоем как-нибудь уйдем от погибели, потому лесной зверь лучше человека чует огонь. Отстать боюсь, кричу ему: «Потише беги, сделай милость!» А он сам едва скачет.

Сколько так бежали мы с зайцем, не припомню. Однако гарь стала легче. Я обернулся, вижу: огонь ветром в сторону отжимает, несет от нас на Красное болото. Тут я упал: кончились мои силы. Лежу, а рядом заяц лежит и громко дышит. Я глянул, а у него задние лапы обгорели.

Отлежался я, взял того зайца в мешок, и добрели мы до своего села. Понес зайца ветеринару, вылечить хотел. Ветеринар смеется. «Ты его, говорит, Прохор, лучше зажарь да съешь с картошкой». Плюнул я, ушел, обозвал ветеринара нехорошим словом.

Помер заяц. Перед ним я провинился, как перед дитем.

— Чем же ты, дед, провинился? Прохор помолчал и улыбнулся:

— Как чем? А у зайца-то, спасителя моего, ухо

было рваное. Зверя ведь тоже понимать надо, как ты думаешь, милый человек?

— А небось все охотишься? — сказал я Прохору.

— Н-н-не, милый, что ты! Теперь я и ружьишко продал, ну его к лешему! Теперь я руки на зайца не подыму.

Возвращались мы с Прорвы к вечеру. Солнце садилось за Окой, и между нами и солнцем лежала серебряная тусклая полоса. Солнце отражалось в лучах, как в море. Солнце отражалось в густой осенней паутине, покрывшей луга.

Днем паутина летала по воздуху, запутывалась в нескошенной траве, седой пряжей налипала на весла, на лица, на удилища, на рога коров. Она тянулась с одного берега на другой и медленно заплетала реку легкими и липкими сетями. По утрам на паутине оседала роса. Покрытые паутиной и холодными росами, ивы стояли под солнцем как сказочные деревья, пересаженные в Мещорские земли из далеких стран.

На каждой паутине сидел маленький паук. Он ткал паутину в то время, когда ветер нее его над землей, и пролетал на паутине десятки километров. Это был перелет пауков, очень похожий на осенний перелет птиц. Но до сих пор никто не знает, зачем каждую осень летят пауки, покрывая

землю своей тончайшей пряжей.

Дома я отмыл паутину с лица и затопил печь. Запах березового дыма смешался с запахом можжевельника. Пел старый сверчок, и под полом ворошились мыши. Они стаскивали в свои норы осенние богатые запасы: забытые сухари и огарки, сахар и окаменелые куски сыра.

Под шорох мышей я уснул, и мне снилось, что звезды падают в озера, кружатся, шелестят и тонут, оставляя в черной золе золотой и пенистый след.

Глубокой ночью я проснулся. Кричали вторые петухи, неподвижные звезды горели на привычных местах, и ветер осторожно шумел над садом, дожидаясь рассвета.

Признание

Мещорский край стал второй моей родиной. Первой родиной для меня так же, как и для всех людей нашей страны, оставался Советский Союз. Но любовь к моей огромной родине жила рядом с любовью к небольшому клочку советской земли, где каждая старая ветла над водой, каждая лесная заброшенная дорога, каждое облако, оставляющее на небе туманный след, похожий на след

корабля в море, и даже запах сена и дыма — все напоминало о жизни с друзьями, прочитанных книгах, опорах, радости, о событиях, то смешных, го печальных, то полных глубокого смысла, то легких и задевающих сердце, и, наконец, о людях, простых и давно уже ставших своими: ворчливых стариках, любопытных мальчишках, жалостливых бабах, корзинщиках и рыбаках.

Так, постепенно росла любовь к этому краю, то чувство, которое мы привыкли называть любовью к родине. Оно состоит из гордости за свою страну и преданности ей, из любви к ее людям, городам, лесам и просторам, из любви ко всей ее, плохо нами изученной, прекрасной природе.

Я видел много примеров жестокости и тупости по отношению к природе. За бессмысленное убийство деревьев надо карать. Нам должны быть дороги каждая ветка, каждый родник холодной воды, каждый клочок зелени, дышащий травами и листвой.

Я вижу в будущем счастливую страну, где девственные заросли лесов, несущих свежесть и влагу, будут шуметь на площадях городов, бывших некогда каменными пустынями, страну, богатую и радостную от рощ, чистых и полноводных рек, неизмеримых полей, пахнущих

пшеничной пылью, страну разумного труда, творчества и веселья.

Убийству природы должен быть положен конец. Из нашей жизни навсегда должен быть изгнан один из опаснейших врагов социалистического общества — обыватель и хищник с пустыми глазами, плюющий на природу и калечащий ее для удобства своей копеечной и бессмысленной жизни.

Если меня спросят, почему я написал рассказ о Мещорском крае, то я могу лишь ответить словами известного французского художника Альберта Сислея: «Я не буду рассказывать о всех небесах и странах, любимых нами, художниками. Я говорю сейчас лишь о тех, которые крепче всего заключены в моем сердце».

1937

Рассказ бойца Петренко

До чего сейчас народ сделался неспокойный, любопытный — это даже удивительно! Каждому расскажи все, с самого начала до самого конца, и каждый еще, черт, сердится. «Ты, говорит, Петренко, скупо рассказываешь». Что значит скупо? Я врать не могу. Я боец подразделения лейтенанта Чубукова, а не артист, не рассказчик. Это у нас в селе был один престарелый царский солдат Трофим Онищук. Так он такие сказки про войну рассказывал, что верили ему только старухи, да и те другой раз сомневались. Такой был неверный старик. Сидит на завалинке, курит, слеза у него из глаза течет от древнего возраста, а все треплет, все треплет языком.

Служил Трофим в старой армии обозным, и было его дело лежать на повозке, тюкать на терпеливых коней да жевать хлеб с желтым салом. Такая тогда была обозная жизнь. Теперь обозный, конечно, другой. Теперь он полноправный боец. А раньше, в царское время, шинелька у него торчала горбом, и весь он был, как говорят у нас на селе, совершенно затрушенный.

Вот и вы тоже сердитесь, говорите: «Ближе к

делу». Никакого дела почти не было. Дело было самое обыкновенное, и касается оно лейтенанта Чубукова. Когда я в часть пришел, он меня, конечно, осмотрел, усмехнулся и сразу определил. «Ты, говорит, днепропетровский». — «Это верно, говорю, я с самой Днепропетровщины, из-под города Новый Буг». — «Ну вот, говорит, учись почетной службе, быть расторопным бойцом».

И взялся он меня учить. Учит, как положено, сурово, а глаз у него, я вижу, нет-нет да заблестит каким-то смешком. Веселые у него глаза. Он что в бою, что в резерве — всегда одинаковый, всегда для бойца хорошее слово где-то бережет, дружески о бойце заботится. Может, и сам по недостатку времени недоест, недоспит, но боец у него всегда сытый, спокойный, справный.

Пошли мы в бой, а теперешний бой совсем, товарищ, не то, что при Трофиме Онищуке. Это тебе не откусывать патроны да не прикуривать от пушечного фитиля. За час немцы нагрохочут, нагремят, напылят, как за всю прежнюю турецкую кампанию. Но только от ихнего шума мало для них получается толку. Я так соображаю, что у которого человека скучно на душе или он, скажем, боится, то ему надо себя успокаивать собственным страшным шумом. Бывает, идет

человек по городу ночью, конечно, опасается, а поет во весь голос, страх в себе забивает. Так, по-моему, и немцы действуют.

Да… Пошли мы в бой. День был ясный. Пшеница колышется. Даже какие-то бесконечные жучки по колосьям бегают, будто нет им до войны никакого дела.

Дрались мы как надо, но тут мина ударила рядом с лейтенантом Чубуковым и ранила его в ногу. Он и говорит: «Петренко, я сам перевяжусь, а ты рви дальше, не выходи из боя, иначе я тебя, такого-сякого…»

Что тут сделаешь? Я ему и так и сяк. «Товарищ лейтенант, говорю, жизнь командира дорого стоит, разрешите я вас выведу из огня». Одним словом, нехорошо получилось — поспорил я с командиром. За это следовало мне, конечно, припаять по-настоящему, по-армейски. Но я знаю, что правда моя: командира надо беречь, как голову от пули. Командир — человек народный.

Я упрямый. У нас на селе все настойчивые, все как я, — ну, командир и сдался. «Ладно, говорит, выводи, тебя не переспоришь, характер, говорит, у тебя очень вредный».

Идти он не может. Вместе ползем. Вечер незаметно подходит, и вижу я, что попали мы в

неинтересное дело. Свои в этом месте немного отошли, а мы попали вроде как в немецкое расположение.

Ночью проползли до подсолнухов, залегли. Говорим тихо, больше шепчем друг другу. Просит лейтенант пить, а у меня фляга пустая. Ну, думаю, Петренко, негодный ты, выходит, боец: воду до боя всю высосал. А напоить надо, — у человека боль и жар, и, вижу, томится он сильно.

Выглянул я из подсолнухов. Вижу, в ложбинке камыш. Значит, там вода. Полз я до той ложбинки целый час. Два раза рядом немцы проходили, гудели что-то по-своему. Однако воды я набрал. Вода из болота, тухлая вода, не нарзан, конечно, и не ситро, но все же раненому облегчение.

Ползу я с той водой обратно. Чуть начало развиднять. И вижу — ползет немецкий солдат в наши подсолнухи, ползет осторожно, как гончая собака. Остановится, послушает и снова ползет, — прямо к моему лейтенанту. Кровь у меня застыла в жилах. Ну, думаю, все равно лейтенанта я тебе не отдам. Тихо было ночью, и тут-то я догадался, — стонет мой лейтенант, должно быть, сомлел от ранения, а немец на его стон и ползет.

Я откинул флягу, быстро пополз, навалился на того немца сзади, сразу за горло, — тишком,

быстро, справно. Одним словом, нет немца, а мне досталась его винтовка с патронами.

Нашел я флягу, напоил лейтенанта и прошу его не стонать, а он говорит: «Я лежал тихо, я не стонал, а только сам с собой разговаривал, досадовал на рану». — «Вот и не надо этого делать, — говорю ему тихо. — Нельзя себя демаскировать, товарищ лейтенант». Он поглядел на меня, вошел в сознание, улыбнулся.

На рассвете опять начался бой, немцы отходили по-над бугром, и я бил их с фланга со своей и немецкой винтовки. Наделал шухеру.

Скоро нас свои подобрали. Я опять пошел в бой, а лейтенанта отправили в санбат.

Вот и все. Ничего тут нет особенного. А вы все просите: расскажи да расскажи. Нам, бойцам, полагается правильно действовать, а за нас и другие расскажут, другие напишут. Уж что-что, а писать наш брат, советский человек, научился. Так напишет, чтобы был пример для других. Без примера нельзя жить. Хороший пример каждому нужен, как кружка воды в жаркий день.

Вот и все, товарищ. Вы случайно не будете в санбате? Тогда передайте вот это письмо лейтенанту Чубукову. Это от всего подразделения. Писали его целый час, а подписывали тоже час:

у нас есть узбеки, им писать еще трудно. Но пулеметчики они знаменитые. Их будто и родили для пулеметов. Ну, прощайте, только про меня ничего не пишите. Может быть, впоследствии чего-нибудь добьюсь — тогда и напишите.

1942

Остановка в пустыне

На рассвете около Мугоджар началась пустыня. Редкая роса блестела на серой траве. Земля, похожая на шкуру верблюда, лежала под осенним безоблачным небом. Поезд остановился на разъезде.

— Вот вам и Азия, — сказал седой человек и снял очки в железной оправе. — Только в пустыне бывает так тихо.

Я прислушался. Даже не было слышно гудения телеграфных проводов. Величавая тишина простиралась вокруг на сотни километров.

— Вот вам и Азия, — повторил седой пассажир и вздохнул. — Удивительно, не правда ли?

Но вскоре тишину нарушил быстрый, веселый щебет. Мимо вагонов шли казахские дети — две девочки и крошечный мальчик. Мальчик нес в руке большой осколок немецкого снаряда — синий, опаленный, похожий на железного ежа. Должно быть, кто-нибудь из пассажиров подарил мальчику этот осколок. Мальчик часто останавливался, рассматривал осколок и озабоченно сопел.

— Испендиар! — кричали ему девочки.

Он подымал голову и, спотыкаясь, торопился за ними, но через несколько шагов останавливался и снова начинал рассматривать, насупившись, осколок.

Девчонки несли в ведре воду. Маленькая птица с белым хвостом летела за ними, обгоняла их, перепархивала с одной телеграфной проволоки на другую и с любопытством, вертя головой, смотрела на воду, — должно быть, ей хотелось выкупаться в глубоком ведре.

Казахские дети! Там, в России, я видел их только на страницах журналов и на рисунках Тараса Шевченко. Они были единственными маленькими друзьями ссыльного поэта во время мучительной его жизни в Закаспийских степях, на Мангышлаке. Его первая встреча с казахскими детьми была трогательной и неожиданной. Однажды измученный казарменной муштрой поэт, одетый в пыльный солдатский мундир, вышел побродить в степь, за стены Александровского укрепления, и встретил казахских детей. Они осторожно несли в пустыню в пиалах теплую воду. Они несли ее на могилы родных, чтобы птицы, залетавшие в эти бесплодные земли, не погибали от жажды и веселили умерших пением, драками и возней.

В своем дневнике Шевченко оставил об этой встрече взволнованную и печальную запись.

— Испендиар! — закричали девочки, и мальчик побежал за ними, прижав к груди колючий осколок.

Испендиар! Это было очень знакомое имя. Испендиар Добатаев. Он умер недавно на фронте, на переправе через широкую северную реку. Имя его облетело все соседние части. Фамилию его никто толком не знал, — командир звал его Испендиаром, а бойцы — просто Паней.

Испендиар говорил мало, но почти всегда улыбался. Улыбка заменяла слова. Он улыбался то приветливо или недоверчиво, то презрительно или простодушно и всякий раз поправлял при этом старый широкий ремень на шинели.

Однажды я просидел с Испендиаром всю ночь около зенитного пулемета — Испендиар был пулеметчиком. Хотя мы с ним и «тамырнили» по его словам, то есть болтали о том и о сем, все же я узнал от Испендиара очень много, — узнал, что он родом из-под Каркаралинска, что у него жив отец — незлобливый старик, работавший до революции «джетаком» — погонщиком стад у богатого скотовода, что степная его родина — лучшее место в мире. Земля там просторная и

ровная, как небо и как на небе стоят облака, так на земле лежат озера с прохладной водой.

От Испендиара я узнал, что Млечный Путь — это птичья дорога. Тысячи лет птицы летят каждую осень на юг по этому пути, и после их перелета в небе остается светящийся след. Испендиар смущенно улыбался — сам он не знает, правда ли это. Так рассказывают старики.

Командиром части Испендиара был лейтенант Земляной, человек веселого нрава, но очень мнительный в военных делах. Земляной жаловался, что ему чертовски не везет и его часть всегда посылают в бой «к шапочному разбору», — приходится только заканчивать то, что сделали другие.

Земляной, старшина Пономарев и бойцы уважали Испендиара за необыкновенную его любовь к оружию.

— Это у него наследственное, — объяснял бойцам Земляной. — От отцов и дедов. Казах свое оружие всегда обряжал, как невесту. А шашки? Вы видели их шашки? Это черт его знает, что за узор! А вы? Что вы, я вас спрашиваю?

— Винтовки у нас в полном порядке, товарищ командир, — оправдывались, ухмыляясь, бойцы. Они знали, что командир попрекает их только

по привычке. — Но, конечно, чтобы гладить пулемет руками весь день, как Паня, — это нам без надобности.

— Будто без надобности? — говорил, усмехаясь, Земляной и уходил.

Старшина Пономарев называл пулемет Испендиара «микроскопом». Это был знак особого уважения. Пономарев работал до войны служителем при лаборатории и считал микроскоп самым красивым, точным и чистым инструментом в мире.

Я провел ночь на берегу реки около зенитного пулемета Испендиара.

Накрапывал дождь. Он шуршал, шевелил мокрые листья. Было слышно, как возятся и сердито попискивают в кустах разбуженные птицы. У соседей-зенитчиков было тихо, — только шагал по сырому песку часовой.

Налет на мост начался на рассвете. Черная ревущая машина со свастикой низко неслась, ныряя в полосы тумана. Испендиар поправил пояс, сдвинул на затылок каску и прирос к пулемету. Пулемет задрожал, светлое пламя судорожно рванулось из дула. Самолет тотчас же начал круто пикировать на Испендиара.

Происходил невиданный поединок самолета и

пулеметчика. Самолет падал, как коршун, камнем на бойца. Все вокруг на мгновение затихли. Трассирующие пули неслись на Испендиара, оставляя зеленоватый след.

Испендиар упорно бил из пулемета, потом вдруг запнулся, но через мгновение снова ударил по самолету в упор в кабину летчика струей огня. Самолет вздрогнул, лег на крыло, качнулся и обрушился в кусты ивняка на берегу реки. Взрыв был такой, что, как потом говорили бойцы, земля полетела за облака и только через пять минут обрушилась обратно.

Испендиар упал лицом на пулемет и лежал неподвижно. К нему бежали бойцы. Но он был мертв. Одна пуля пробила ему каску, две другие прошли навылет через грудь. С трудом Пономарев и бойцы разжали руки Испендиара, сжимавшие рукоятки пулемета.

Испендиара похоронили на лесной поляне недалеко от реки. Был северный вечер. Чистый закат долго тлел, никак не мог погаснуть над некошеными лугами. В лугах кричал одинокий смелый перепел. Бойцы засыпали могилу Испендиара, постояли, послушали перепела и, вздохнув, пошли на зенитную батарею.

Ночью уже было холодно. Яркие осенние звезды

горели над лесами, над голубой рекой и вдалеке глухо гремели моторы, — тяжелая корпусная артиллерия шла на позиции, вытягиваясь на мост. Скромный и спокойный боец Ваня Рябушкин сидел во рву зенитной батареи и откупоривал ножом банку с консервами.

— Ну, что, Ваня, — спросил я его, — холодно?

— Да ничего, терпимо, — ответил он, помолчал и сказал, как бы раздумывая: — Вот Паня умер. За родную землю. Я так думаю, что родина у него — не только его степная далекая сторона. Шире брать надо!

— Ты о чем? — спросил я его, не понимая.

— Родина — это, значит, все! — сказал строго Ваня. — Все! Каждый колос хлеба, каждое ведро воды из колодца. Как вы думаете? Трудно мне объяснить. Одним словом — все! — Он снова помолчал.

— Эх, Паня! — сказал он. — Все помалкивал, усмехался, а какой человек! Родная душа!

И вот сейчас, глядя на уходящих девочек и мальчика, бежавшего вслед за ними с осколком, прижатым к груди, я вспомнил Испендиара. Дети шли к горам. Горы вставали над пустыней крутым розовым пирогом. Они были сожжены солнцем, бесплодны, но в ущельях пряталась

тень, и в этой тени, наверное, где-нибудь из-под зернистой глыбы гранита сочился тоненький ручеек. Над горами сверкал, дымился синий глубокий воздух, и в нем парили орлы.

Ваня был прав. Родина — это все. И эти дети, бегущие к неизвестным горам, и ветер, легко качнувший сухую траву, и далекие льды Алатау — их как будто было уже видно во мгле, и старик казах с добрыми прищуренными глазами, выкликавший по вагонам какого-то Габита, — должно быть, этот старик был похож на отца Испендиара.

Родина — это все. Это — ощущение счастья от зрелища огромной нашей земли, ее лесов, закатов, морских побережий, наглаженных прибоями, пажитей, деревень, смотрящих в заречную даль. Это ощущение счастья от ее легкого неба, ее ветров, ее людей, от их труда, от гудков паровозов, мчащихся к великим ее городам, к заводам, шахтам, рудникам, создающим неслыханные богатства. Это — ощущение гордости прошлым и предчувствие великолепного будущего, которого мы никому не отдадим. Знал ли это Испендиар, когда дрался за великую землю, лежавшую за его спиной? Да, знал.

Дети уже были далеко. Мальчик все отставал,

бежал сзади. Поезд тронулся. Розоватые горы начали уходить в полуденный туман, древнюю мглу пустыни.

1943

Струна

Осколок снаряда порвал струны на скрипке. Осталась только одна, последняя. Запасных струн у музыканта Егорова не было, достать их было негде, потому что дело происходило осенью 1941 года на осажденном острове Эзеле в Балтийском море. Даже не на самом острове, а на небольшом его клочке — на косе Цераль, где советские моряки отбивали непрерывные атаки немцев.

Оборона этого полуострова войдет в историю войны как одна из ее величавых страниц. Он прославлен бесстрашием советских людей. Эти люди дрались до последней пули.

Налетали ветры, и неспокойно шумело море. Оно было блестящим и серым, как свежий разрез на свинце. Окончились северные летние ночи, но закаты, как всегда на Эзеле, медленно горели над водой, и сонно шумел сосновый лес, разросшийся на дюнах. Шум сосен не проникал в окопы. Его заглушали взрывы, свист бомб, визг мин и хватающий за сердце рев бомбардировщиков.

Война застала на Эзеле нескольких советских актеров — мужчин и женщин. Днем мужчины вместе с бойцами рыли окопы и отбивали немец-

кие атаки, а женщины перевязывали раненых и стирали бойцам белье. А ночью, если не было боя, актеры устраивали концерты и спектакли на маленьких полянах в лесу.

«Хорошо, — скажете вы, — конечно, в темноте можно слушать пение или музыку (если актеры поют вполголоса, а музыканты играют под сурдинку, чтобы звуки не долетали до неприятеля), но непонятно, как актеры ухитрялись разыгрывать спектакли в ночном лесу, где мрак плотнее, чем в поле или над открытой водой. Что в этом мраке могли увидеть зрители? Музыканты привыкли играть в темноте, но как же другие актеры?»

А они показывали морякам сцены из Шекспира, Чехова и «Профессора Мамлока» Фридриха Вольфа.

Но война и отсутствие света по ночам создали свои традиции и выдумки. Как только начинался спектакль, зрители наводили на актеров узкие лучи карманных электрических фонариков. Лучи эти все время перелетали, как маленькие огненные птицы, с одного лица на другое, в зависимости от того, кто из актеров в это время говорил. Но чаще всего лучи останавливались на лице молоденькой актрисы Елагиной и подолгу

замирали на нем, хотя Елагина и молчала. В ее улыбке, в глазах каждый из моряков находил любимые черты, которые он давно, с первых дней войны, берег в самом надежном уголке сердца.

На Егорова зрители никогда не наводили лучи фонариков. Всегда он играл в темноте, и единственной точкой света, которую он часто видел перед собой, была большая звезда. Она лежала на краю моря, как забытый маяк. Ее не могли погасить залпы тяжелых батарей, не мог задушить желтый дым разрывов. Она сверкала, как напоминание о победе, неизменности мира, будущем покое, и, может быть, за это моряки и актеры полюбили эту звезду и прозвали ее «подругой».

Струны на скрипке были порваны, и Егоров больше не мог играть. На первом же ночном концерте он сказал об этом невидимым зрителям. Неожиданно из лесной темноты чей-то молодой голос неуверенно ответил:

— А Паганини играл и на одной струне…

Паганини! Разве Егоров мог равняться с ним, с великим музыкантом!

Егоров медленно прижал скрипку к плечу. Большая звезда спокойно горела на краю залива. Свет ее не мерцал, не переливался, как всегда. Звезда как будто притихла и приготовилась

слушать музыканта. Егоров поднял смычок. И неожиданно одна струна запела с такой же силой и нежностью, как могли бы петь все струны.

Тотчас вспыхнули электрические фонарики. Впервые их лучи ударили в лицо Егорова, и он закрыл глаза. Играть было легко, будто сухие, легкие пальцы Паганини водили смычком по изуродованной скрипке. Слеза сползла из-под закрытых век музыканта, и в коротком антракте войны, в глухом лесу, где пахло вереском и гарью, звенела и росла мелодия Чайковского, и от ее томительного напева, казалось, разорвется, не выдержит сердце.

Последняя струна действительно не выдержала силы звуков и порвалась. Она зажужжала, как шмель, и затихла. Сразу же свет фонариков перелетел с лица Егорова на скрипку. Скрипка замолчала надолго. И свет фонариков погас. Толпа слушателей только вздохнула. Аплодировать в лесу было нельзя — могли услышать немцы.

Я рассказываю подлинный случай. Поэтому напрасно читатель будет ждать ловко придуманной развязки. Она оказалась очень простой: Егоров умер. Он был убит через два дня во время ночного боя. Ему не на чем было играть, и он стал обыкновенным бойцом обыкновенной пехотной

части.

Его похоронили в грубой песчаной земле, когда накрапывал дождь, море затянулось туманом. На ветвях сидели мокрые синицы. Они уже привыкли к свисту пуль и только удивленно попискивали, когда пуля ударяла в ствол дерева и с листьев сыпались брызги.

Скрипку Егорова бойцы положили в футляр, зашили в старое байковое одеяло и передали летчику, улетавшему в Ленинград. Летчик сразу же набрал высоту, чтобы уйти от немецких зениток. Десятки огней вспыхивали за хвостом самолета.

В Ленинграде летчик отнес скрипку главному дирижеру Консерватории. Тот взял ее двумя пальцами, взвесил в воздухе и улыбнулся, — это была итальянская скрипка, потерявшая вес от старости и многолетнего пения.

— Я передам ее лучшему скрипачу нашего симфонического оркестра, — сказал летчику дирижер Консерватории.

Летчик — простой белобрысый парень — кивнул головой и улыбнулся.

Где теперь эта скрипка — я не знаю. Говорят, что она в Москве. Но где бы она ни была, она играет прекрасные симфонии, знакомые нам и любимые нами, как старое небо Европы, как слово Пуш-

кина, Шекспира или Гейне. Она играет мелодии Чайковского, Шостаковича и Шапорина.

Звуки симфонии так могучи, что рождают ветер. Вы, должно быть, заметили, как он порывами налетает на вас со сцены, шевелит волосы, заставляет сердца слушателей дрожать от гордости за человека.

Поют сотни струн, поют гобои и трубы, — победа придет! Потому что не может не победить наша страна, где люди идут в бой, унося в душе звуки скрипичных песен, где так просто умирают за будущее скромные музыканты и где созданы могучие симфонии, потрясающие мир.

1943

Нет ли у вас молока?

На перекрестках лесных дорог, около шалашей, сложенных из сосновых веток, стояли девушки-бойцы с флажками. Они руководили потоком военных машин, указывали им дорогу, проверяли наши документы.

Мы встречали этих девушек-регулировщиц в полях очень далеко от деревень, в лесах, около переправ через быстрые реки. Под дождем и на ветру, в пыли и на солнцепеке, в северные ночи и на рассветах — всюду и всегда мелькали мимо нас их обветренные лица, строгие глаза, выцветшие пилотки. Ночью в глухом лесу одна из таких девушек остановила нашу машину и спросила:

— Нет ли у вас, товарищи, молока?

— Мы с фронта едем, а не с молочной фермы, — недовольно ответил шофер.

— Своих коров мы, как на грех, подоить не успели, — насмешливо добавил боец с автоматом. — Вот беда! У нас не за каждой ротой ходит стадо молочных коров.

— А вы бросьте шутить, — сердито сказала девушка. — Я вашим остроумием не интересуюсь. Значит, нет молока?

— А в чем дело? — спросил майор, вылезая из машины. За ним вылез боец.

Регулировщица рассказала, что этой ночью она впервые за время войны сильно испугалась. Артиллерия открыла ночной огонь. В лесу это хуже всего. Когда тихо, то хоть ничего и не видно, но, по крайней мере, слышно, как захрустит под сапогом каждая ветка. Никакой немец, отбившийся от своих, не может застать врасплох. А когда бьет ночью артиллерия — и слепнешь от темноты и, вдобавок, глохнешь.

Девушка стояла ночью на перекрестке. Вдруг кто-то крепко схватил ее за ноги. Девушка закричала, отскочила, схватилась за винтовку. Сердце у нее колотилось так громко, что она не сразу услышала тихий плач у своих ног. А услышав, зажгла электрический фонарик и осветила дорогу.

— Смотрю: маленькая девочка в рваном платке стоит рядом. Такая маленькая, ростом мне до колен. Я слова сказать не могу, а она обхватила меня за ноги, уткнулась головой в колени и плачет. Нагнулась я над ней, сама реву, дура, и слышу, как она одно только слово шепчет: «Мама». И так настойчиво, знаете, шепчет, будто я действительно ее настоящая мать. Отнесла я ее в шалаш, уложила, закутала шинелью. Спит она

сейчас. Молока бы ей надо, когда она проснется.

— Да, дела, — сказал майор. — А сколько ей лет?

— Годика три. Она уже разговаривает хорошо. Все, что могла, мне рассказала. Изба их — там где-то, за лесом, — сгорела вместе со всей деревней, а мать, должно быть, убили немцы. Она говорит, что мать спит, а она ее будила-будила и никак не могла разбудить.

— Да, дела! — повторил растерянно майор.

— Есть у меня банка сгущенного молока, — пробормотал шофер и начал рыться в темноте у себя под ногами.

— Молоко, конечно, молоком, — сказал боец с автоматом, — только ее в тыл надо определить.

— Жалко мне ее, — тихо вздохнула регулировщица.

— А ты что ж, — спросил боец, — при себе ее оставить хочешь? Кто тебе разрешит? Ребенку забота нужна. Скажем, детский сад или что-нибудь в этом смысле.

— Да, я понимаю, — согласилась девушка, — только не — охота мне ее вам отдавать.

— Давайте, давайте! — суровым голосом сказал майор. — Мы ее устроим в надежное место.

Регулировщица побежала в шалаш за девоч-

кой.

— Вот происшествие! — сказал боец, — Я от Сталинграда до Брянска дошел, а ничего похожего не случалось.

— Научили меня немцы ихний род, фашистский ненавидеть, — пробормотал шофер.

— И меня научили, — сказал боец. — Я семьдесят пять немцев пока что уничтожил.

— Ты что ж, снайпер? — спросил шофер.

— А как же. Мы все, яранские, снайперы.

Регулировщица принесла девочку. Она крепко спала.

— Кто из вас ее держать будет? — спросила регулировщица.

— Я, — сказал боец с автоматом. — Всю дорогу буду держать.

— Смотри, уронишь, — заметил шофер. — Все-таки хрупкое существо.

— Это кто уронит? — грозно спросил боец. — Я, что ли? Сказано тебе, что я снайпер. Рука у меня твердая. Это не то, что твою баранку крутить. И опять же — дочка у меня в деревне осталась, чуть поболе, чем эта. Я ее сам, бывало, в коляске укачивал.

Боец неожиданно и смущенно улыбнулся.

— Ну и держи, — примирительно сказал шо-

фер. — Я все равно очень аккуратно поеду. С моей ездой ты ее не уронишь.

Боец влез в машину, осторожно взял девочку. Над вершинами леса небо уже синело, приближался рассвет.

— Поехали, — сказал майор.

Регулировщица покраснела, обдернула гимнастерку и тихо сказала, вертя в руках измятый листок бумаги:

— Разрешите обратиться, товарищ майор. Вот тут я адрес написала, свою полевую почту. Очень мне желательно знать, куда вы ее определите. Пусть мне напишут. Пожалуйста!

— Давайте, — сказал майор. — Значит, не хотите с ней навсегда расставаться?

— Не хочу, товарищ майор.

Машина тронулась. Над первой же просекой, заросшей высокой травой, мы увидели солнце. Белое и огромное, оно подымалось в синеватой утренней мгле. По просеке вели пленных немцев. Они сошли с узкой лесной дороги, чтобы дать дорогу машине. Злыми, тяжелыми глазами они смотрели на нас из-под стальных шлемов, а один из них, с редкими, будто выщипанными усиками, чуть заметно оскалился.

Шофер обернулся к бойцу и спросил:

— Сколько ты, говоришь, уничтожил?

— Семьдесят пять.

— Маловато, по-моему, — сказал шофер.

— Ничего, — пробормотал боец. — У меня с ними еще разговор будет. Автоматический.

1944

Утренник

Среди ночи коротко прогремела якорная цепь, зашипел пар, и машина, медленно качнув маслянистыми шатунами, остановилась. Стало слышно, как журчит под плицами речная вода. Пароход прокричал глухо и недовольно, немного помолчал и прокричал снова.

Елена Петровна лежала в холодной каюте, не раздеваясь, укрывшись пальто. Она подняла голову, посмотрела в окно. Там ничего не было видно, кроме мокрой деревянной скамейки около борта. Несколько минут было тихо, потом опять прокричал пароход.

Елена Петровна встала, накинула пальто и вышла на палубу. Пароход стоял. Одинокую электрическую лампочку на корме заносило густым туманом. От этого свет лампочки делался красноватым, мутным, и казалось, что он вот-вот погаснет.

Пожилой вахтенный в черном ватнике сбежал с мостика и прошел мимо Елены Петровны.

— Сентябрит, — сказал он ей на ходу. — Все туманы, Поздно едете в отпуск.

— Да нет, ничего, — ответила Елена Петровна и

виновато улыбнулась.

Она обошла по палубе вокруг парохода. В каютах спали. Далеко, как в пропасти, протрубил чужой пароход. Гудок у него был хриплый. «Должно быть, буксир», — подумала Елена Петровна и спустилась по крутой лестнице на нижнюю крытую палубу. Там тоже все спали, подложив под голову узлы и мешки. Поблескивала железная палуба. Сидела на привязи мохнатая белая собака с одним рыжим ухом. Увидев Елену Петровну, она неуверенно замахала хвостом и тихонько взвизгнула.

Рядом с собакой сидела на ящике молодая цыганка и качала на руках маленькую девочку в пестром платке и такой же пестрой юбке. Девочка не спала, смотрела на Елену Петровну и крепко держала в руке баранку.

— Погадаю, красавица! — сказала цыганка и подвинулась, чтобы Елена Петровна могла сесть рядом. — Тяжелое у тебя сердце, голубка. Ты своего счастья не видишь. Скажу правду, — не пожалеешь.

— Не стоит, — ответила Елена Петровна, достала трехрублевку и протянула цыганке. — Я сама знаю, где мое счастье.

— Не горюй: слеза красоту смоет, — пробормо-

тала цыганка и завязала деньги в платок.

Елена Петровна поднялась наверх, прошла в пустой салон на носу парохода, села в кожаное кресло. В салоне было темно. За окнами клочьями плыл туман. Стенные часы пробили четыре.

Елена Петровна облокотилась о стол и задумалась. Вот она сказала цыганке, что знает, где ее счастье. Где же оно? Уж не в этой ли осенней поездке на пароходе? «Я как пьяница, — подумала Елена Петровна и усмехнулась. — Все меня тянет в эти места. Сейчас я все вспомню, и тогда, может быть, станет легче. Ну, конечно, надо все вспомнить».

Но вспоминать было не так-то легко. От воспоминаний начинало тяжело биться сердце.

В 1936 году — десять лет назад, — когда Елена Петровна была еще девушкой и носила длинные косы, она, окончив школу, приехала из Москвы погостить к подруге Мане Синицыной вот в эти места, в городок Новинки. Отец Мани заведовал в Новинках городской больницей. Больница стояла на окраине. За ее оградой тянулся на десятки километров — до самого областного города — сосновый лес.

В то лето Елена Петровна — тогда еще Лена — познакомилась со студентом Лесного института

Алешей Белявским. Он приехал из Ленинграда на практику в тамошнее лесничество и часто бывал у Мани. Это был худенький юноша — выдумщик и спорщик. Он мог спорить часами о чем угодно, но чаще всего — о поэзии, литературе. Тогда он, по словам Мани, «неистово вдохновлялся». Он бледнел и даже голос у него вздрагивал, когда он в подтверждение своих слов читал стихи.

Он знал на память много стихов, и Лена приставала к нему с просьбой прочесть что-нибудь «из Блока или Лермонтова». Но Алеша никогда не читал, если его просили. Один только раз, перед ее отъездом, он прочел ей «Веселых нищих» в переводе Багрицкого, а потом незнакомые стихи Блока, которые просто пели, пели сквозь слезы, как может петь молодая мать, баюкая ребенка:

Нет имени тебе, весна.
Нет имени тебе, мой дальний…

Это было в городском саду, около заросшего пруда, где отцветал стрелолист и в черной воде горел закат. Лена теребила перекинутые через плечо косы, потом сжала их пальцами, опустила голову и заплакала. Она сама не знала, почему плачет. Может быть, оттого, что назавтра надо было уезжать из Новинок, а может быть, в стихах

было что-то непонятное, щемившее сердце.

Лена вскочила и пошла вдоль пруда, а испуганный Алеша остался на скамейке.

На следующий день Лена уезжала, но Алеша не пришел из лесничества, чтобы ее проводить. Когда отошел пароход и уже не стало видно Мани, махавшей платком, Лена облокотилась о поручни и долго простояла, ничего не видя, тяжело дыша от обиды.

В шести километрах от Новинок пароход проходил мимо лесничества. От берега отвалила лодка. Пароход коротко прогудел и застопорил машину, чтобы принять с лодки случайного пассажира. Пассажиром этим оказался Алеша. Он поднялся на палубу к Лене. Она посмотрела на него испуганно. Алеша сказал, что решил проводить ее до следующей пристани, и спросил, можно ли это.

— Можно, — еле слышно ответила Лена и тут же подумала, что ему придется сутки ждать обратного парохода, негде будет ночевать, что он не взял пальто и, конечно, простудится. Она упрекнула его за это, но Алеша только улыбнулся.

Потом они сидели на палубе и молчали. Лене казалось, что земля и небо переменились местами. Облака медленно подплывали под днище парохода, а небо текло над ним глубокой рекой.

Следующая пристань была маленькая и безлюдная. Прощаясь, Лена неожиданно прижалась головой к плечу Алеши, потом подняла голову, и глаза их встретились. Алеша улыбнулся неуверенно и смущенно. Тогда впервые и единственный раз Лена поцеловала его и тут же оттолкнула.

В Москве она получила от Алеши письмо. «Я прямо счастлив, — писал он, — что живу в одно время с вами». После этого письма Лена долго ходила как потерянная. Смешное, милое время!

На этом месте следовало бы перестать вспоминать, но память вела дальше. Лена написала Алеше несколько писем, но не отослала их и все порвала. Слова в письмах бренчали, как погремушки. Нельзя было такими словами писать о том, что было у нее на душе. А других — настоящих — слов она не могла найти, будто сразу их позабыла.

Так прошел месяц, второй, третий. Алеша больше не писал, и Лена знала, что по своей глупости она обидела Алешу и теперь уже все кончено.

Осенью умер от разрыва сердца отец Лены — врач Яузской больницы. Лена осталась одна с матерью-учительницей, поступила в архитектурный институт, познакомилась как-то зимой на

студенческой вечеринке с молодым художником Чуркиным, веселым и задиристым, как воробей, увлеклась им, и на следующее лето они поженились. Чуркин говорил, что женщина не может быть архитектором, что это галиматья, и Лена вскоре после замужества перешла на работу в издательство, выпускавшее книги по искусству.

Они прожили вместе четыре года. Чем дальше, тем чаще Лена замечала, что Чуркин живет как-то вприпрыжку, «петушком», отшучивается от серьезных дел и занят главным образом тем, чтобы скоротать время.

Перед самой войной они разошлись — спокойно, без попреков, будто разъехались близкие, но наскучившие друг другу родственники.

Оставшись одна, Елена Петровна начала чаще вспоминать об Алеше, но и Новинки, и стихи у пруда, и прощание на пароходе представлялись ей теперь такими далекими, будто это было в другой, не этой жизни.

А потом накатилось железное время — пришла война. Почти два года Елена Петровна прожила в сибирском городе на берегу холодной реки, куда было эвакуировано издательство. Однажды ночью она проснулась у себя в низкой комнате. Гремела под ветром крыша, дождь колотил в стек-

ла, как град, и страшно было представить себе, как за рекой бушует болотистый сибирский лес.

Елена Петровна закрыла глаза и так ясно увидела Алешу — небритого, худого, вот под таким проливным дождем, где-то далеко, на переднем крае… Детская любовь, по никак ее не оторвешь, не выбросишь из сердца!

Вернувшись в Москву, Елена Петровна решила непременно поехать в отпуск в Новинки. Она не знала, жива ли Маня Синицына, что с ней, что в лесничестве. И вот завтра она наконец все узнает.

Дверь скрипнула. Елена Петровна оглянулась. В салон вошел пожилой человек, в пальто, без шляпы. Елена Петровна накануне познакомилась с ним, но разговаривать стеснялась, — она узнала от капитана, что это писатель Семенов и что едет он тоже в Новинки. «Что он там будет делать? — подумала она. — Должно быть, едет к родственникам».

— И вам тоже не спится? — спросил Семенов, присел к соседнему столику, начал набивать трубку и, не дожидаясь ответа, сказал: — Да, туман… Простоим до утра. Трудно на реке поздней осенью. А я, представьте, это очень люблю.

Он зажег спичку и начал раскуривать труб-

ку, поглядывая при красноватом огне на Елену Петровну.

— Что любите? — спросила Елена Петровна.

— Пустой пароход, туман… Холодные каюты, — он помолчал и добавил: — И ночные разговоры люблю. С попутчиками. Я вам не помешал?

— Нет, ничуть! — поспешно ответила Елена Петровна.

— Вовремя застал нас туман, — сказал как бы про себя Семенов.

— Почему?

— Тут на берегах горелый лес. После войны. Тянется на тридцать километров. За глаза это трудно даже представить. До горизонта обугленные сосны. Как кладбище. Хорошо, если вы этого не увидите. Вы, кажется, в Новинки?

— Да, в Новинки.

— И я туда же. Второй раз в этом году. Вернее, не в Новинки, а в лесничество.

— Отдыхать? — спросила Елена Петровна.

— Нет. По делу. И работать. Я пишу одну вещь… о лесах. Не знаю даже, как ее назвать, — повесть ли это, статья или поэма.

— Это, наверное, интересно, — сказала Елена Петровна.

— Правда? — удивился Семенов. — А я вот бо-

юсь, что не дойдет до читателя. Когда пишу, то уверен, что здорово. А окончу — сразу же начинает казаться, что все это — сплошная ерунда, жеваная вобла, а я сам — графоман и дурак.

— А вы проверьте, — посоветовала Елена Петровна. — Прочтите кому-нибудь постороннему. Тогда это пройдет.

— Вот вы как! — сказал, подумав, Семенов. — А что, если я поймаю вас на слове. Возьму и прочту вам отрывок?

— Господи! — улыбнулась Елена Петровна. — Я буду только рада.

— Вы чудная! — сказал решительно Семенов и встал. — Сейчас принесу рукопись. Я давно заметил, что вы хорошая. Улыбка у вас такая, что можно пропасть.

Семенов ушел за рукописью. «Странный человек», — подумала Елена Петровна. Ее немного покоробили последние слова Семенова.

Семенов вернулся очень скоро, зажег над столиком желтоватую лампочку, и Елена Петровна увидела, что виски у него седые, лицо усталое, а прищуренные серые глаза смотрят не на нее, а куда-то дальше, будто он все время прислушивается.

— Глава называется, — сказал Семенов, —

«Потомок доктора Астрова». Помните доктора Астрова? Из «Дяди Вани»?

Елена Петровна молча кивнула.

— Помните его слова, что леса учат человека понимать прекрасное?

— Конечно, помню.

— Извините, тут будут некоторые технические вещи, — предупредил Семенов. — Так вот, слушайте.

«Известный, но еще молодой композитор пригласил меня к себе послушать отрывок из его новой симфонии. Было это в Ленинграде летом 1946 года.

Композитор жил на набережной, над Невой, и я слушал его симфонию, сидя на балконе. Заря угасла, не догорая, за островами, и только одна звезда отражалась в невской воде. Та звезда, о которой, мне кажется, упоминают все, кто пишет о летних ночах в нашей северной столице. Это был, должно быть, Юпитер.

Рядом со мной сидел на балконе загорелый человек в поношенном черном костюме и по всему виду — не горожанин. Несмотря на потертый костюм и шершавые, загрубелые руки, в моем соседе было столько изящества, что он, пожалуй, превосходил им тех мягких в движениях и

учтивых музыкантов, что собрались послушать симфонию. Я как-то сразу догадался, что мой сосед — человек не совсем обыкновенный.

Когда композитор окончил играть, человек в черном сказал:

— Это не уступает Чайковскому.

— Вы очень любите Чайковского?

— Да, — ответил он. — За все. Не только за музыку.

— А за что же еще?

— Хотя бы за его слова, что ничто так не помогает расцветанию творческих сил и кристаллизации мысли, как леса.

— Вы имеете отношение к лесу?

— Да, я лесничий.

Так я познакомился с замечательным человеком — лесничим Белявским».

Елена Петровна встала и пересела за столик Семенова. Он взглянул на нее. Загудел пароход. Семенов замолчал.

— Читайте, — сказала Елена Петровна.

— Пусть он перестанет гудеть.

— Все равно, читайте!

— «Я люблю леса и все, что связано с лесным делом. Поэтому через минуту мы уже затеяли с лесничим оживленный разговор. Композитор

вышел на балкон узнать наше мнение о симфонии и был озадачен и даже, кажется, обижен тем, что услышал.

— За годы войны, — говорил лесничий, — немцы свели под корень сотни тысяч гектаров наших лесов. В Орловской области они вырубили все те веселые рощи, что были воспеты Тургеневым. Но это капля в море — в общем массиве погибших лесов. Если бы вы подозревали, чем грозит гибель лесов, то, думаю, не занимались бы психологическими рассказами.

— Позвольте, — сказал я.

— Я совсем не хотел вас обидеть, — быстро сказал лесничий. — Извините. Я очень люблю литературу. В том числе и психологические рассказы. Но стоит задуматься. У вас сила, но применяете вы ее не там, где это важнее всего. Вы пока что молчите о том, о чем, по-моему, надо писать со всей страстью.

— О лесах? — спросил я.

— Конечно. Он помолчал.

— Есть точный закон, — сказал он наконец. — Сколько уничтожено леса, столько же гибнет плодородной почвы. Вот вам коротенький синодик: истребление лесов приводит к обмелению рек. Реки сохнут у нас на глазах. Дожди смыва-

ют, а ветры разносят пылью огромные пласты плодородной земли. Растут овраги, движутся сыпучие пески, происходит тяжелая порча климата, быстрое падение урожаев и — самое страшное — необратимое засоление земли, Всего не перечтешь.

У нас свели лес немцы. А в прославленной Америке? Что там? Промышленники валят леса на огромных площадях. Ради наживы. Целые области уже превращены в пустыни. Урожаи в иных штатах уменьшились в десять раз. Каждый год дожди вымывают из американской земли в двадцать раз больше питательных веществ, чем их расходуется на питание урожая… Старая песня: «После нас хоть потоп». Вот вы музыкант, — лесничий обернулся к композитору. — Вам эта тема должна быть очень близка.

— Почему? — спросил несколько обиженно композитор.

— Просто потому, что леса, помимо всего прочего, оказывают на нас огромное эстетическое влияние.

— Допустим, — пробормотал композитор.

— Это так! — ответил лесничий. — Пожалуй, этого даже не стоит доказывать. Сейчас я хотел сказать о другом — о воздухе. Вот об этом легком

воздухе, без которого нет жизни. От гибели лесов меняется его состав, и если так пойдет дальше, то мы пропадом от кислородного голода. Достаточно того, что одни заводы каждый год выбрасывают в воздух миллионы тонн сернистого газа. Пока что от отравления этим газом нас спасали леса.

— Страшноватые вещи! — сказал композитор.

— Мы это остановим, — спокойно сказал лесничий, как будто говорил о чем-то совершенно обыкновенном. — Надо вернуть земле плодородие, мягкий климат, полноводные реки. У нас уже начинаются работы по возрождению лесов. Надо торопиться. Торопиться еще и потому, что для восстановления страны понадобится столько леса, что поезда с ним три раза могут опоясать экватор. Мы будем сажать леса из скорорастущих деревьев. В общем, мы преодолеем время. Через двенадцать — пятнадцать лет на нынешних пустошах будут шуметь густые леса. Наши лесоводы уже научились выращивать за двенадцать лет деревья, не уступающие по высоте и силе деревьям восьмидесятилетним.

— Тысяча и одна ночь! — заметил композитор. — Но почему мы ничего не знаем об этих вещах?

— Приезжайте в мои леса, в Новинское лесни-

чество, — ответил лесничий и засмеялся. — Там вы кое-что увидите.

— Почему вы говорите «мои леса»? — язвительно спросил композитор. — Насколько я знаю, леса у нас государственные.

— По-моему, этого противопоставления нет, — ответил лесничий. — Все мое — государственное, И наоборот. Наше дело такое, что мы для себя не живем. Приходится работать на будущее.

Он замолчал. Мы все тоже замолчали. Ночь стала темнее. Звезда на высоком небе переливалась влажным огнем, как дождевая капля, занесенная током воздуха на такую высоту, где, за границей стратосферы, ее еще освещает солнце.

— Есть такая сказка, — неожиданно сказал лесничий, — о том, почему мигают звезды. Им, так же как и людям, смертельно хочется спать по ночам, и они стараются отогнать от себя сон.

Мы молчали. Только композитор сказал вполголоса:

— Удивительно.

Семенов замолчал и начал складывать листы рукописи.

— Что же вы? — испуганно спросила Елена Петровна.

— Дальше не стоит читать. Я и сам вижу, что

это еще очень сыро и плохо.

— Где он сейчас, этот лесничий? — спросила Елена Петровна, глядя в сторону, на светлое ореховое пианино в углу салона, и чувствуя, что у нее начинает гореть лицо.

— В Новинском лесничестве. Я сейчас еду к нему. Получил телеграмму.

— Что-нибудь случилось? — небрежно спросила Елена Петровна, все так же разглядывая пианино.

— Да, — ответил Семенов и сильно пригладил ладонью рукопись. — Случилось. Он лежит с двусторонним воспалением легких. Сам, конечно, виноват. Он заложил здесь большие питомники скорорастущих деревьев. А в самом начале месяца ударили утренники. Помните? Даже у нас в Москве крыши были белые от инея. Надо было спасать молодые посадки. Да вы меня слушаете или нет?

— Слушаю, — тихо ответила Елена Петровна и перевела взгляд с пианино на портрет Горького, висевший над дверью салона.

— Спасают их просто, — объяснил Семенов. — Окуривают дымом. Разводят десятки костров. Дым не подпускает холод. Вы понимаете?

— Да, — ответила Елена Петровна. — Но почему

же он сам виноват?

— Фанатик. Не бережется. Ночи были ледяные. Понятно — простудился. За ним ведь некому смотреть. А он сам, как ребенок. И кто его теперь выходит, — непонятно. Объездчики? Лесники? Черт знает что!

— А жена? — спросила Елена Петровна.

— Эх вы, женщина! — сердито ответил Семенов. — Нету у него жены. Да и не в этом дело.

— А в чем же?

— А в том, что обидно! — так же сердито ответил Семенов. — Великолепный человек, а пропадает один. Почему? Да потому, что небось ни одна женщина — вот такая, как вы, — не согласится замуровать себя в этой лесной берлоге, Потому что, извините, вас тянет к блеску, к славе, к нарядности жизни. Я уверен, что если бы Пушкин был сельским лекарем, то напиши он хоть двадцать «Евгениев Онегиных», — у него бы не было в жизни ни Ризнич, ни Воронцовой, ни Керн! Уверен! Вот я смотрю на вас и думаю: чудесная женщина, красивая, молодая, с такой улыбкой, что действительно можно пропасть. И вот где-то рядом человек, делающий великое дело, человек одинокий, талантливый, заслуживающий настоящей любви. Любви вот такой женщины, как вы.

Понимаете? Может быть, если бы вы встретились с ним, вы бы его и полюбили. Даже наверное полюбили бы. Но как встретишься? Где? В лесах? Да вас калачом в эти леса не заманишь! Вот человек и пропадает. И я, понимаете, мужлан, мужчина, еду, чтобы ему как-то помочь, хотя и знаю, что от меня толку на ломаный грош. Тут нужна женская рука.

Семенов замолчал и начал досадливо постукивать пальцами по столу.

— Хорошо, — вдруг тихо сказала Елена Петровна. — Я поеду с вами… к нему. Но сейчас оставьте меня одну. Потом…

Она отвернулась, прижалась лбом к запотевшему оконному стеклу и заплакала.

Семенов дико посмотрел на Елену Петровну, испуганно сказал «Господи!», смущенно и широко улыбнулся и, стараясь не шуметь, вышел из салона. Он осторожно прикрыл стеклянную дверь, постоял минуту, посмотрел на Елену Петровну, на ее затылок, на русые косы, заколотые сзади и, казалось, клонившие своей тяжестью ее милую голову к холодному оконному стеклу, и опять смущенно и широко улыбнулся.

Елена Петровна плакала долго и легко, как никогда еще не плакала в жизни. О чем? О том, что

кончилось наконец одиночество и вся скрытая, задавленная ею самой любовь прорвалась наконец и вот вылилась в эти легкие и совсем еще детские слезы. Лишь бы спасти его, выходить, взять в свои руки его голову и крепко прижать к груди, как прижимают голову ребенка.

Утром, когда пароход подходил к лесничеству и гневно гудел, вызывая лодку, чтобы принять на борт двух пассажиров, а на берегу суетился, отвязывая лодку, седой мохнатый старик, должно быть, объездчик или бакенщик, Елена Петровна вышла из каюты на палубу и зажмурилась. В льдистом, необыкновенно синем небе подымалось солнце, но иней на прибрежной траве еще не растаял. Он лежал даже на палубе, как белая крупная соль, и хрустел под ногами. Елена Петровна посмотрела на берега и судорожно вздохнула, — знакомый лесной край горел перед ней холодным пожаром заржавленной листвы, было так тихо, что ясно слышался где-то далеко за просекой стук топора. Горький воздух долетал с берега, запах вянущей травы, лесных дебрей, тронутой первым морозом рябины.

Семенов подошел к Елене Петровне. Она протянула ему руку. Семенов снял шляпу, наклонился к руке, поцеловал ее и почувствовал, что рука

чуть заметно дрожит. — Спасибо! — сказала Елена Петровна.

Семенов поднял голову и с недоумением посмотрел в глаза Елене Петровне. И вдруг понял, что вот в этой молодой женщине вся та великая любовь, о какой он писал так много и в которую втайне не верил. Он уже догадывался, что случайно вмешался в чужую тайну, в чужую боль, но вмешался благодетельно и кстати.

Пароход сработал назад, чтобы его не сносило течением, погнал волны, и в этих волнах закачались, переливаясь золотом, береговые леса.

Мохнатый старик причалил и зацепился багром за борт парохода.

— С листопадом тебя, Терентьич! — крикнул с мостика вахтенный.

— Листопад нынче богатый, — ответил старик. — Ну, давай твоих пассажиров!

Елена Петровна быстро сбежала по крутой лестнице на нижнюю палубу, к лодке. Семенов спускался за ней, не торопясь, будто соображая, не остаться ли ему на пароходе. Но потом решился, широко улыбнулся и вслед за Еленой Петровной соскочил в лодку.

1947

Чужая рукопись

Кончался декабрь. С севера пришел шторм. Море ревело и не давало спать по ночам. Писатель Лобанов читал почти все ночи напролет. Он перечитал все те немногие книги, что у него были, и наконец взялся за чужую рукопись. Ее принес Лобанову незнакомый пожилой человек по фамилии Королев — начальник пристани в том городке на Кавказском побережье, где Лобанов проводил всю зиму.

Лобанов неохотно взглянул на первую страницу, но начало рукописи удивительно совпадало с тем, что происходило вокруг. Лобанов заинтересовался и начал читать дальше:

«Весь месяц дул холодный ветер, лил дождь, и почти каждую ночь проходила над морем гроза. Медленные молнии освещали огромные валы, бившие в берег, голые платаны за окном и мою комнату, похожую на каюту.

При каждой вспышке молнии сверкал на столе осколок дымчатого розового стекла. Я как-то подобрал его на пляже. Просыпаясь среди ночи, я смотрел не за окно, где бушевало море, а на то место стола, где, как я знал, лежит этот осколок.

Я ждал. Внезапно осколок загорался розовым светом, и мне нравилось думать, что это распустился у меня на столе мгновенный цветок. Молния гасла, мрак прижимался к стеклам, но мне все казалось, что розовое пламя еще догорает на столе. Этот короткий блеск помогал мне думать. А передумать нужно было многое, потому что жизнь уже перевалила за половину, но я не хотел сдаваться. Чаще всего я думал о том, что нельзя уйти без следа из этого хорошего мира. Но как оставить след, если я человек, не одаренный никакими талантами, кроме отчаянного пристрастия к жизни?

А между тем я многое знаю, люблю литературу, но все это лежит мертвым грузом, и, пожалуй, за всю свою жизнь мне не удалось ни с кем как следует поговорить об этом.

Где-то я вычитал, что композитор Григ встретил весной в горах маленькую девочку, такую трогательную и веселую, что Григ написал для нее одну из своих лучших симфоний. А вот мне никак не удается встретить такую девочку. Ради нее я мог бы написать рассказ, чтобы передать и ей, когда она подрастет, и всем окружающим мои мысли, замыслы и наблюдения. Мне всегда очень хотелось этого. Сейчас у меня есть какая-то глупая

уверенность, что в этом моем первом рассказе я, хотя бы отчасти, добился того, чего так хотел».

Когда Лобанов дочитал рукопись до этого места, налетел шквал, и тотчас погасло электричество. Очевидно, ветер оборвал провода. Шквал встряхнул дощатый дом, как встряхивают за плечи человека, чтобы заставить его опомниться. Дом затрещал, галька со звоном хлестнула в стекла, захлопали двери, и за порогом закричал и зацарапался котенок, испуганный всем этим шумом.

Лобанов встал, чтобы впустить его, и взглянул за окно. Седые разливы пены стремительно подкатывались к стенам дома и тотчас уходили в темноту, грохоча убегающей галькой. Больше за окном ничего не было видно. Ветер гулял по комнате и шевелил чужую рукопись.

С некоторых пор Лобанов начал бояться чужих рукописей. Почти всегда это были длинные исповеди. Но не это его пугало. Ему было страшно, прочитав рукопись, сказать человеку: «Пиши дальше». Рискованно было толкать человека на тяжелый труд выражения самого себя. Этому нужно было отдать жизнь. Но хватит ли ее? И сил? Хватит ли жестокости к себе, чтобы понять и преодолеть первоначальную скудость слов? Если хватит, то прекрасно. А если нет? Что тогда?

Но на этот раз Лобанов ошибся. Хотя рукопись и была, очевидно, «исповедью», начиналась она хорошо.

«Чего же он хочет? — думал Лобанов, лежа в темноте. — Оставить след в сердцах людей? Может быть, эта рукопись и переживет его. Кто знает!»

Второй шквал ударил в дом с силой взрывной волны. Крючок на двери сломался. Дверь отлетела и ударила в стену. Треснуло и распахнулось окно, и плотный поток воздуха выдул, казалось, все, что было в комнате. Упала ваза с цветами, полилась вода, листы рукописи взлетели со стула около кровати и исчезли за окном.

Лобанов поймал на лету одну страницу. Он засунул ее под подушку, вскочил, накинул пальто и вышел в сад. Ветер, свирепея, гнул к земле кипарисы. Мокрые листья били по щекам, и ничего не было видно вокруг. Потом Лобанов заметил, что под окном что-то мутно белеет. Он подошел. Это была страница из рукописи, наглухо припечатанная ветром к густым кипарисовым веткам. Лобанов отодрал ее от дерева и унес в дом.

Только вернувшись к себе, он понял, что случилось. От рукописи ничего не осталось. Он долго просидел на кровати, упершись локтями о коле-

ни и опустив на ладони голову. Что он скажет теперь Королеву? Лобанов знал, что вины за ним нет, но что он скажет! Как он не догадался, что шквал может распахнуть окно!

Утром ветер разорвал в клочья тучи и прижал их к побуревшим горам. Дождя не было. Море стихало. Как только рассвело, Лобанов пошел далеко по берегу в ту сторону, куда дул ночью ветер, но не нашел ни одной страницы рукописи.

Лобанов решил тотчас идти на пристань, в морское агентство, и рассказать обо всем Королеву. Но, как все слабовольные люди, он начал медлить: долго мылся под душем, тщательно одевался, выкурил несколько папирос и только после этого вышел наконец на шоссе и пошел к пристани.

На половине пути до пристани ответвлялась дорога в ущелье. Лобанов постоял на перекрестке, подумал и пошел по этой дороге. В ущелье лежал туман. С облетевших тополей, стоявших по обочинам дороги и заросших плющом, слетали капли.

Лобанов любил эту дорогу. Сначала тянулись пустынные сады. В них доцветали побледневшие от ветров хризантемы. Сладковато пахло листвой мушмулы. Потом на повороте показался сухой

узловатый дуб. С его ствола свешивались желтые виноградные листья. За поворотом шумел между камней поток. Вода в нем была голубая и на перепадах прозрачная. Через поток был переброшен каменный мост с высокой аркой. Мост зарос мхом, желтыми лишаями и маленькими сухими ромашками.

На парапете моста сидели две молодые женщины и плотный мужчина в берете. Лобанов узнал его издали. Это был его приятель художник Журавский.

Рядом с ним сидела его жена Аннушка, очень черная, худая, в пестром платке. Вторую женщину Лобанов не знал. Он заметил издали ее волосы с медным отблеском и, когда подошел поближе, — серые спокойные глаза.

За мостом на склоне горы белел дом, где жили Журавские.

Лобанов подошел, поздоровался, Журавский познакомил его с молодой женщиной:

— Это наша москвичка. Художница, Нина Потапова.

— Вы что же, недавно приехали? — спросил ее Лобанов.

— Да, — ответила Нина, не глядя на Лобанова; она бросала в поток сухие ветки и смотрела, как

их уносит водой. — Только что приехала и уезжаю. Завтра же.

— Что ж так?

— Слякоть, холод! — ответила Нина и пожала плечами. — Я уже здесь неделю и ни разу не видела солнца. Это скучно.

— А что ж, в Москве сейчас лучше?

Нина подняла глаза, удивленно взглянула на Лобанова и спросила:

— А вы почему сердитесь?

— Сердись не сердись, — пробормотал смущенно Журавский, — но и мы, Миша, тоже уезжаем. Раньше времени, конечно… Понимаешь, сырость. Получается чепуха.

— Эх ты, художник! — тихо сказал Лобанов, глядя на Журавского сузившимися злыми глазами. — Ты видел, какой тут воздух во время штормов? Совершенно зеленый. А туманы! А ночи! Я часто встаю ночью, выхожу на веранду и слушаю море. Беспредельный шум. И беспредельная тьма. Теплая, кромешная. Комнатный ты человек, Сережа, вот что! Курортник!

— Это и ко мне относится? — спросила Нина.

— Как вам будет угодно.

— Спасибо, — промолвила Нина и усмехнулась.

— Извините, — сказал, горячась, Лобанов, — но я не могу этого понять. Этой вашей слепоты на вещи, по существу, прекрасные. Все хорошо — и дождь, и ветер, и вот эти облака в ущелье. Все!

— Вы что-то раздражены сегодня, Миша, — заметила Аннушка.

— Да, — согласился Лобанов. — Этой ночью со мной случилась невероятная чертовщина.

Он рассказал о рукописи, унесенной ветром. Журавский заволновался.

— Господи! — воскликнул он. — Что же ты будешь делать?

— Представь, Сережа, — сказал Лобанов, — начало рукописи очень интересное. Должно быть, и человек этот интересный. Необыкновенный какой-то начальник пристани.

— Необыкновенные люди бывают только в книгах, — небрежно заметила Нина. — И в воображении писателей. Я уверена, что это самый обыкновенный человек. И к тому же неудачник. А вам всюду чудятся… как это сказано… «Одиссеи во мгле пароходных контор». Чем больше я узнаю наших мужчин, тем сильнее убеждаюсь, что они совсем как мальчишки.

— Что ж тут плохого? — испугалась Аннушка. — Пусть будут мальчишками.

— Я не знаю, сколько вам лет, — сдержанно сказал Лобанов Нине. — Думаю, что не больше тридцати. А мне уже сорок пять. Но я временами ощущаю себя семнадцатилетним. А вы?

— Это неинтересно.

Нина встала, обняла Аннушку за плечи и засмеялась.

— Ладно! — сказала она вызывающе. — Давайте останемся еще на несколько дней. Как ты думаешь, Аннушка? И, может быть, за эти несколько дней товарищ писатель откроет мне прелесть этой мокрой зимы. Я буду ему очень признательна.

— О, господи! — вздохнул Журавский. — Не успели познакомиться — и уже ссорятся. Что за люди, ей-богу! Значит, остаемся, Аннушка?

— Ну что ж, останемся, — согласилась Аннушка. — Встретим у нас Новый год. Хорошо, Миша?

— Чудесно! — обрадовался Лобанов. — Прямо чудесно! Новый год у моря. В горах.

— Знаете что, — сказала Нина, — позовите на Новый год этого вашего начальника пристани. Он семейный?

— Не знаю. Кажется, нет.

— Позовите. Чтобы загладить хоть отчасти вашу вину.

— Никакой моей вины нет.

— Ну, хорошо. Тогда мне просто интересно посмотреть на человека, которого вы считаете необыкновенным.

— Идет! — согласился Лобанов. — В общем, вы совсем не такая, какой хотите себя показать.

— Нет, такая, — упрямо сказала Нина. — Именно такая! Лобанов помолчал.

— Вот что, Сережа, — сказал он умоляюще и покраснел, — пойдем сейчас к Королеву. Вместе.

— Если тебе так будет легче… — пробормотал Журавский. — Пожалуй, пойдем.

— И мы с вами, — сказала Аннушка и встала. — Не бойтесь. Мы посидим в парке, пока вы с ним будете объясняться.

Всю дорогу до пристани Лобанов молчал. Когда его о чем-нибудь спрашивали, он отвечал невпопад. Наконец вышли на пальмовую аллею на берегу. Далеко в море лежала серебряная полоса воды, — там сквозь пелену облаков пробивалось солнце.

— Вы оба так волнуетесь, что на вас жалко смотреть, — насмешливо сказала Нина. — Хотите, я пойду к нему вместо вас.

— Нет, зачем же, — неуверенно возразил Лобанов.

— Ну уж, ладно! Подождите здесь, на этой скамейке. Эх вы, мужчины!

Она усмехнулась и быстро пошла к низкому белому зданию морского агентства.

Нина долго не возвращалась. Лобанов, сидя на скамейке, поглядывал на двери агентства. Наконец она вышла. Он заметил издалека ее светлое, легкое пальто. Слабый луч солнца упал на землю, и под этим лучом вдруг вспыхнули Нинины волосы.

Нина поправила волосы и чему-то улыбнулась.

— Ну что? — спросил Лобанов, когда она подошла.

— Да ничего. Дайте мне папиросу. Она закурила и неохотно сказала:

— Сначала он растерялся. Но потом обошлось. Уверяет, что все это пустяки. Очень вежливый человек. Черновика у него нет, но он говорит, что это не имеет значения.

— Какой он? — спросила Аннушка.

— Седой. Я плохо рассмотрела. Там темно.

— Необыкновенный? — усмехнулся Журавский.

— Не знаю, — медленно ответила Нина. — Не знаю, — повторила она. — Просто человек в старом морском кителе. Я пригласила его на по-

слезавтра. Он придет.

Утром Лобанов проснулся и прислушался. Море молчало. Лобанов вскочил, вышел в пижаме на веранду и засмеялся: мглистый синеватый штиль лежал, колыхаясь над морем. Прозрачная вода чуть подымалась и опадала, покачивая коричневатые листья магнолий, но ни одна волна не плеснула о берег.

В ясной и бесконечной синеве низко сверкало солнце, все в пятнах и дымных тенях, уходили к северу мощным изгибом знакомые горы.

Желтая бабочка села на перила веранды, распластала крылья и замерла: уснула от теплоты.

Лобанов прищурился.

— Боже, какая голубизна! — сказал он громко. — Можно ослепнуть!

Он вдохнул всей грудью воздух и покачал головой, — в воздухе была целебная, чуть прогретая солнцем свежесть. Недавний шторм выдул весь сладкий угар, застоявшийся в мандаринниках, и затопил побережье потоками озона.

— Вот тебе и тридцать первое декабря! — сказал Лобанов. — Какая прелесть.

Весь короткий солнечный день ушел на веселую возню перед встречей Нового года. Лобанов ходил с Аннушкой на базар и, чертыхаясь, тащил

оттуда в дом к Журавским бутылки с вином, орехи и сыр «сулугуни». К вечеру Лобанов лег отдохнуть, уснул, а когда проснулся — высоко над побледневшим морем висел нежный серп месяца.

Лобанов взглянул на месяц, ахнул и пошел умываться.

Пришел он к Журавским поздно и застал уже там Нину и Королева.

— Вот, — сказал Лобанов, смущенно здороваясь с Королевым, — какая нелепая вышла история. У вас хорошая память?

— Да, неплохая, — ответил Королев; голос у него был глуховатый. — А что?

— Вы не сможете по памяти восстановить все, что писали?

— Не знаю. Очень трудно, конечно.

— Мне безумно хочется знать, что было у вас в рассказе. Я успел прочесть только одну страницу. Но это очень здорово!

Королев улыбнулся:

— Если хотите, я могу рассказать. Но это тоже трудно.

— Расскажите, — попросила Нина. — Непременно!

На ней было вечернее платье, длинное, до полу,

из мягкого черного бархата. В этом платье она казалась выше и бледнее.

— Потом, — ответил Королев.

— Когда потом?

— Если придется к слову. До Нового года осталось несколько минут.

Сели за стол. Он напоминал низкорослый сад. На нем было расставлено так много цветов и набросано столько веток, что блюда с закусками и бутылки терялись в их таинственной чаще.

За минуту до полуночи Нина погасила свет. Тотчас яркое сияние месяца возникло на потемневшем небе, и стало слышно, как в ущелье мягко шумит, переливаясь по мшистым камням, горный поток.

— Зачем это ты? — испуганно спросила Аннушка.

— Так, мне кажется, лучше.

Лобанов вглядывался в полумраке в Королева, Журавский откупорил бутылку шампанского и разлил вино по стаканам: бокалов не было. Шампанское слабо светилось. Королев взглянул на часы на руке:

— Ровно двенадцать. Есть примета: с кем встречаешь Новый год, с тем долго не расстанешься.

— Выпьем за это, — предложил Журавский.

— Потом, — сказал Лобанов. — Сначала выпьем за нашу великолепную страну. Ей мы обязаны всем.

Пили за Новый год, за счастье. Начался шум. Лобанов предложил выпить за Черное море. Вышли со стаканами на балкон. Он висел в воздухе над дымной и глухой синевой, и над этой синевой стоял печальный месяц. Лобанов не сразу понял, что эта синева — ночное море.

— Где мы? — спросила Нина. — Я ничего не понимаю. Откуда так тянет теплом?

— От моря, — ответил Королев.

— В такую ночь всегда ждешь необыкновенного, — неожиданно сказала Нина.

Лобанов засмеялся: — Остановка только за тем, чтобы это необыкновенное придумать.

— Выпьем еще, — серьезно сказал Королев, — и тогда я вам кое-что предложу.

— Слушайте, Королев, — Нина глухо засмеялась, — вы действительно странный человек.

— Ничего не странный! — закричал Журавский, схватил Королева за плечи и сильно встряхнул. — Он симпатяга! Я сразу это понял, как только он переступил порог. Он поэт. Я отвечаю за свои слова. Признайтесь, что вы пишете стихи.

— Нет, — ответил из темноты Королев. — Сти-

хов я не пишу. Куда там!

— Чепуха! — снова крикнул Журавский.

— Слушай, Сережка, — сердито сказал Лобанов, — замолчи, ради бога! Если понадобится, то мы тебя вызовем.

— А что вы любите больше всего? — вдруг тихо спросила Нина.

Королев молчал. Нина выпрямилась в кресле, подалась вперед и смотрела в лицо Королеву.

— Многое, — ответил наконец Королев. — Но, пожалуй, больше всего «Для берегов отчизны дальной».

— Прочтите сейчас же!

— Я плохо читаю.

— Прочтите сейчас же!

— Нина! — испуганно сказала Аннушка. — Что ты чудишь?

— Ну, хорошо, — согласился Королев.

Он начал читать, облокотившись о перила и глядя на море, где далеко, на самом краю ночи, шел пароход и нес неяркие огни. Королев читал как будто для себя.

— «Но там — увы, — где неба своды сияют в блеске голубом», — просто сказал Королев, и Нина почувствовала, как у нее сжалось горло.

Она знала, что за этими торжественными, пою-

щими словами стоит смерть, не пощадившая ни любви поэта, ни светлой красоты любящей женщины. И вот они пришли, эти слова: «Твоя краса, твои страданья исчезли в урне гробовой». Твои страданья! Нина сидела, все так же выпрямившись, не двигаясь, и по ее щеке скатилась и упала на колено, на черный бархат, одна-единственная слеза. Никто это не заметил. Все молчали.

— Да, — сказал наконец Журавский, — тысяча поэтов не придумает ту единственную строчку, которую написал этот гениальный мальчишка!

— Ты это о ком? — спросил Лобанов.

— Как — о ком! О Лермонтове. Помнишь: «И звезда с звездою говорит»?

— Однако что же вы хотели нам предложить? — спросила Королева Аннушка.

Машина неслась, шурша на закруглениях, и в свете фар мелькали меловые стволы эвкалиптов. Далеко впереди светились зеленоватые снега на Главном хребте.

«Откуда этот свет? — думал Лобанов. — Неужели снег светится сам по себе? И что это за безумная гонка новогодней ночью? И как это здорово получилось, что Королев достал машину и везет их неизвестно куда!»

— Снега! — прокричал Лобанов. — Видите, как

светят снега!

Нина посмотрела на снежную цепь. В лицо бил ветер, задувал под легкое пальто, под мягкий бархат платья, и все внутри холодело. Нина не могла понять, что это за холод. Может быть, это был просто холод восторга. Снеговые вершины росли, медленно менялись местами. Нине захотелось туда, на этот чистый снег. Попасть туда одной, совсем одной!

Машина свернула к морю, на плоский мыс, и вошла в сосновый лес. Ветер стих. Запахло мокрой хвоей.

В лесу они вышли из машины и пошли вслед за Королевым. Он уверенно шел в ту сторону, откуда долетал какой-то смутный гул.

Лагуна открылась внезапно. Она лежала рядом, почти у самых корней последних сосен.

— Ну вот, — сказал Королев. — Это здесь.

Все молчали. Багровый месяц тяжело висел во мгле. Медные невысокие волны бежали от месяца к их ногам.

Лобанов с необыкновенной ясностью запомнил все: и эту лагуну, и запах сосен, и обрубистый берег, что начинался слева и в тусклом отблеске месяца казался заржавленным, и белые развалины, и там — далеко — величавое молчание

горных вершин. По правую руку на низком мысу горел маяк.

— Здорово! — сказал Лобанов, — Какое-то необыкновенное ощущение от всего…

— Аннушка! — крикнул Журавский. — Завтра же приеду сюда с красками и холстом. Приеду! А не найду машину — приползу!

— Не надо шуметь, — тихо сказала ему Нина. Все замолчали.

— А теперь, — сказал Королев, — пойдемте. Вы все озябли. Здесь на маяке смотрителем мой приятель Стеценко. Он меня ждет этой ночью. Я обещал.

— Что же мы всем табором? — сказала Аннушка. — Неудобно.

— Он только обрадуется. Живет, как на острове. Идемте!

Маяк был недалеко. Они шли к нему берегом, по гальке. Галька трещала под ногами, и нельзя было разговаривать. Следом по лесу шла машина.

Железный высокий маяк был обнесен каменной оградой. Королев постучал в калитку. Из-за ограды окликнули. Королев назвал себя. Калитку открыл однорукий человек с фонарем. Это был смотритель маяка Стеценко. Он нисколько не удивился появлению среди ночи Королева с

незнакомыми людьми.

— А, Коля! — сказал он спокойно. — А я уже ругался. Думал, что обманешь. Входите, пожалуйста. Тут порог. Осторожнее.

— Извините, — сказал Лобанов. — Непрошеные гости.

— Ну что вы! — засмеялся Стеценко.

Все дальнейшее запомнилось Нине очень ясно, но вместе с тем эта ясность была похожа на сон.

Двор маяка, вымощенный крупной галькой, ярко освещенная комната, большой украинский ковер на полу, на стене карточка этого человека в морской форме, но снятая еще тогда, когда он не был одноруким, медные барометры, гитара. Журавский пел под гитару:

Кто же мне судьбу предскажет?
Кто же завтра, милый мой,
На груди моей развяжет
Узел, стянутый тобой?

— Всегда ты поешь одно и то же, — рассердилась Аннушка.

— Девочку не разбудим? — спросил Королев.

— Она у меня спит крепко, — ответил Стеценко. — Набегалась за день.

— Какая девочка? — быстро спросила Аннуш-

ка.

— Моя, — ответил Стеценко. — Собственно, не моя. Я не женат. Но я ее усыновил. Или удочерил. Не знаю, как сказать.

— Можно ее посмотреть?

Стеценко провел Аннушку и Нину в соседнюю комнату. Там спала белоголовая девочка с растрепанными косичками, румяная от сна. Аннушка наклонилась над девочкой и, не дыша, смотрела на нее блестящими глазами.

— Анна, — сказала ей вполголоса Нина, — у тебя уже скоро будет такая…

— Да, — ответила громким шепотом Аннушка.

Они вернулись в комнату, где Лобанов, Королев и Журавский уже о чем-то шумно спорили.

— Где вы ее нашли, такую чудесную? — спросила Аннушка Стеценко.

— В Керчи.

Но Аннушка все приставала с расспросами. Тогда Королев сказал:

— Во время боев за Керчь Ваня командовал десантным кораблем. Ее мать убили при нем. Он взял девочку.

— Вам трудно одному с ней, — сказала Аннушка. — И рука…

— Нет. Она уже большая. А руку я потерял

потом. Под Новороссийском. Задело осколком. Хотите посмотреть маяк?

Стеценко провел всех по узкому коридору. Он упирался в железную маячную дверь. За ней начиналась чугунная винтовая лестница.

Лобанов заглянул вверх. Слабо освещенная башня маяка уходила, казалось, в самое небо, под звезды.

Поднимались долго. Внутри маяка пахло машинным маслом и смолой от половиков. Ступеньки тихо позванивали. В открытые иллюминаторы дуло слабым ночным ветром.

Лестница делалась все уже, потом перешла в отвесный трап. Он вел на балкон, к фонарю. Фонарь жужжал.

— Только не становитесь на балконе со стороны огня, — предупредил Стеценко.

Нина вышла на узкий балкон. Он висел над морем. Месяц зашел, и все небо было в нестерпимо горящих звездах. Нина закинула голову, посмотрела на небо, и у нее закружилась голова.

Она прислонилась к холодной железной стенке маяка и закрыла глаза. Королев стоял рядом с ней. Нина взяла его под руку и, не открывая глаз, сказала:

— Я ничего, ничего не понимаю. Что это так

звенит?

— Маяк.

Королев помолчал, посмотрел на бледное лицо Нины, освещенное отблеском маячного огня, и сказал вполголоса:

— Вы похожи на девочку Грига.

— Что? — спросила Нина. — На какую девочку?

— Григ как-то встретил в горах девочку. Очень славную. И написал для нее одну из своих лучших симфоний.

— Все равно, я ничего не понимаю, — сказала Нина.

— Да, — так же тихо сказал Королев, — я бы написал обо всем, что видел в жизни. Для всех. И для вас. А видел я многое. И обо всем, что я передумал.

— Так же, как Григ? — спросила Нина и тихо засмеялась. Она взяла руку Королева, быстро прижала к щеке и отпустила. — Не говорите больше ничего, потому что мне будет потом очень трудно.

На обратном пути Лобанов затащил всех к себе. Была уже поздняя ночь, сонно дышало море, и звезды роились в небе крупными гроздьями.

Зажгли лампы. Лобанов вытащил из шкафа вино и мандарины.

Говорили мало. Аннушка прилегла на диван и уснула. Нина сидела в кресле, обхватив колени руками, молчала, а когда к ней обращались, отвечала односложно и рассеянно улыбалась.

— Грустишь, Нина? — спросил Журавский. — Устала?

— Ни капельки. Просто мне хорошо. Спокойно на душе.

— С чего бы это? — спросил Журавский, но Нина не ответила.

Королев курил, смотрел, задумавшись, за окно, где над горами висела Большая Медведица.

— Выпьем, — предложил Лобанов, — за то, чтобы вы заново написали свой рассказ. Так я и не знаю ничего, кроме его начала. Вы ведь обещали рассказать его нам. Может быть, расскажете сейчас? Потягивая это плохое винцо?

— Я вам его уже рассказал, — ответил Королев.

— Когда?

— Да вот сейчас. То, что вы видели этой ночью, и почти все, о чем мы говорили, — это все из рассказа.

— Ах так! — сказал Лобанов. — Рассказ был об этом? Об отчаянном пристрастии к жизни?

— Да. И зимняя ночь на побережье — оттуда. И лагуна. И маяк. И то удивительное, но плохо уло-

вимое ощущение необыкновенного, о котором вы говорили на берегу. И сила поэзии. Пожалуй, в рассказе все это было, только яснее.

— Та-ак! — протянул озадаченно Лобанов. — Это очень здорово. Вы, выходит, настоящий писатель. Недаром вы писали о бессмертии. И след вы оставили. В каждом из этих сердец. Слушайте, вы же действительно какой-то необыкновенный человек.

— Ну, глупости! — пробормотал Королев.

— Знаете что, — сказал Лобанов и налил всем вина. — Выпьем с вами за ту малость, что зовется талантом. Хотя нет, погодите. Я хочу еще вас спросить. Ведь не все, что было в рассказе, случилось сегодня. А Григ? А девочка? Ее сегодня не было.

— Как знать! — ответил Королев.

Нина быстро встала и вышла на веранду. Лобанов удивленно посмотрел ей вслед.

— Она всегда чудит, — сказал примирительно Журавский.

Через два дня Журавские и Нина уезжали в Москву. Поезд отходил поздним вечером.

Провожал только один Лобанов. Он послал знакомого мальчика предупредить Королева об отъезде, но мальчишка исчез, не явился с ответом, и до последней минуты никто не знал,

что случилось. Очевидно, мальчишка не нашел Королева.

Поезд тронулся. Нина стояла у окна. Прозрачный месяц опять висел над морем. Нина больше угадывала, чем видела, в неясном лунном сумраке знакомые и ставшие милыми места: белый санаторий, стены черных кипарисов, мост через поток, в который она недавно бросала сухие ветки, заглохший сад с маленьким дощатым домом, где жил Лобанов, тополя, парк…

— Я вернусь, — сказала Нина в оконное стекло. — Вернусь.

Стекло запотело. Нина быстро протерла его перчаткой. Поезд пронесся по длинному мосту, и внизу, у самого моря, в свете одинокого фонаря, Нина увидела низкое белое здание морского агентства. Тотчас все срезал туннель, и поезд загрохотал в подземной тьме тяжелым каменным гулом.

1948

Снегопад

Изба лесного объездчика Лаврентия, или, как принято здесь говорить, «лесной кордон», стояла на краю Урженского бора.

Бор был вековой — как ни приедешь на кордон, он всегда шумит величаво и важно. Шумит и лето и зиму. Летом, конечно, кроме гула вершин, ничего не услышишь. А зимой, как только задует ветер и закачаются, загудят сосны, лучше в избе не сидеть, а обязательно выйти хоть ненадолго на крылечко и посмотреть, что делается вокруг, Снег летит с сосен, рассыпается легкой пылью, и весь лес до самой глубины густо дымит и вот-вот, кажется, запылает белым холодным пожаром.

Мимо кордона идет большак. На кордоне всегда людно. То отдыхают пильщики, то охотники чистят свои ружья, то колхозные возчики задают корм мохнатым лошадям.

Этой зимой снег выпал поздно, но падал четыре дня без перерыва, без отдыха, и так завалил знакомую землю, что ее не узнать.

Так случилось, что мне пришлось заночевать в избе у Лаврентия в конце декабря, на самом перевале зимы. Я давно собирался из деревни в

Москву, но лед на Оке никак не мог окрепнуть, все не было переправы, зима, как говорят, была «сиротская», — и я застрял в деревне до декабря. А когда выехал, то, как назло, начался такой снегопад, что и машины, и лошади, и люди тонули в снегу, и все остановилось, попряталось по попутным деревням, по кордонам.

Люди сидели, дожидались пути, но никто не ругался, не проклинал этот снегопад, — без снегу тоже добра не будет, урожая не заработаешь.

На этот раз в избе у Лаврентия собралось не так уж много народу: возчик из Шухмина — молодой робкий парень, начальник районной почтовой конторы Николай Иваныч — человек в очках, пожилой и спокойный во всех обстоятельствах жизни, и дед из Лопухов, который почему-то без всякой нужды прикидывался глуховатым.

Все ехали по служебным или по своим собственным делам и застряли на кордоне. Один только дед попал на кордон по неизвестной причине.

— Ты куда ж это поперся в такую погоду? — допрашивал его Лаврентий. — За каким таким государственным делом? Ай жить тебе надоело? Небось восьмой десяток пошел, а ты все носишься, будто враг тебя мучает.

Дед смотрел на Лаврентия ясными голубыми

глазами, крутил головой и посмеивался.

В избе жарко топилась русская печь. За окнами, ни на минуту не ослабевая, продолжался густой снегопад. Торжественное и монотонное падение снега вызывало оцепенение. Все мы смотрели за окно на сыплющийся снег и молчали.

В сумерки, когда за окном потемнело, Лаврентий зажег под потолком жестяную лампу, поставил самовар и включил радио. Из черной треснувшей тарелки громкоговорителя раздалось прерывистое хрипение, потом чугунный и грозный голос сказал с подвывом:

И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка...

Дед встрепенулся.

— Престарелое радио, — сказал он, сокрушаясь. — Или это с простуды оно так сипит. Чегой-то я не пойму.

— А ты не прикидывайся, будто ничего не соображаешь, — рассердился Лаврентий. — От погоды оно сипит, от мокроты, — вот что!

— Атмосферические помехи, — коротко объяснил Николай Иваныч.

— Вроде как с перепою, — заметил дед. — У нас

в Лопухах, уж на что мы в самом, можно сказать, дремучем лесу, в самом глушняке обитаем, а и то голос у радио много чище. Какое может быть сравнение!

— Совестно слушать, чего ты только плетешь! — сказал Лаврентий.

— Я, милый, — объяснил дед, — человек неученый. А ты с меня требуешь.

Дед обвел нас лукавым взглядом и засмеялся.

— Что с меня взять. Моя жизнь — вот она, — дунул, и нету! Я по земле от силы пять лет еще прошагаю. Не более. Мне осталось, сердешный ты мой, только побаски ребятам рассказывать. Вот и все мое занятие.

— На это ты мастак известный, — пробормотал Лаврентий. — Кабы тебе за те сказки да побаски трудодни выписывали, был бы ты в наших местах самый богатей-мильонщик.

— Это точно! — согласился дед. — Я полагаю, что зря их мне не выписывают.

Николай Иваныч засмеялся, даже закашлялся.

— Ну и яд старик!

— Ты погоди маленько, рано еще смеяться, — сказал дед спокойно. — Ты про птицу иволгу слыхал? Нет? Та, что с золотым хвостом. Повадилась она летать в наш лопуховский лес на

порубку. Там лесорубы работают. Они, значит, подрубают сосну, а она сидит поодаль на ветке и им подсвистывает. Так это ладно подсвистывает, под самый удар топора. Раз-два-три, раз-два-три! Им, конечно, работать от этого свиста легче, способнее.

— Выдумки! — сказал Лаврентий. — Иволга — птица пугливая.

— Это, милый, я и сам знаю, — строго перебил его дед. — Эти твои слова сейчас ни к чему. Ты мне не мешай, не препятствуй. Да-а. Лесорубы сами мне это рассказывали. Облегчение, говорят, нам было большое в нашей работе от той птичьей песни. А тут навернулся из города какой-то охотник-дуролом, прямо скажу, подлый человек, стервец. Застрелил он ту иволгу.

— Есть такие грохалы, — подтвердил возчик. — Им все равно по ком бить, — по вороне ли, по кукушке ли, по дятлу.

— Вот-вот! Застрелил он ее. Пришли лесорубы, а иволги нету. Подняли топоры, бьют, а у них ничего и не получается. Один, как говорится, разнобой, разброд. Не хватает им этого свиста с переливами. Вот так-то оно и было, милок. Норму они в тот день без иволги так и не выполнили.

— Это ты к чему гнешь? — спросил Лаврентий.

— Да ни к чему. Ты понимай, как тебе желательно. А то и вовсе не понимай. Дело твое. А вот я бы на месте нашего председателя, кабы вправе он был на это, написал бы той иволге какие ни на есть трудодни. Подкормил бы ее малость.

— Ну и занозистый же ты дед, — сердито сказал Лаврентий. — Звонишь черт знает что!

— Моя жизнь — вот она, — повторил дед. — Дунул — и нету! Потомство меня интересует. Вот я, к примеру, человек неученый. Не так, значит, жизнь у меня стесалась, как думалось. Не в те сроки я родился. Так это, брат, поправимо.

— Это в семьдесят-то лет? — спросил Николай Иваныч.

— Поправимо! — уверенно повторил дед. — Я сам не вышел, так детей своих вывесть могу. Или нет? Ну то-то! Вот о чем я забочусь.

«В процентном выражении, — сказал из громкоговорителя бархатный голос, — *это дает увеличение продукции по линии переработки молочных продуктов на девяносто три и четыре с половиной сотых...»*

— О господи! — вздохнул дед. — Ночь нынче не простая, а, кажись, новогодняя, вроде как праздничная, а он нас этими процентами кормит.

— Рано еще, — ответил Лаврентий. — Погоди,

скоро музыка пойдет валом. И песни. Из Москвы. А пока что можно, конечно, его и прикрыть.

Лаврентий выключил радио. Сразу стало слышно, как поет, закипая, старый, погнутый самовар.

— Водочка у меня будто есть, — сообщил неуверенно Лаврентий. — Может, по сто граммов и придется на каждого. А вот насчет закусить — слабовато.

— Доставай, что у кого есть! — приказал Николай Иваныч. — Чего-нибудь наберем.

Все начали развязывать кошелки и узелки и выкладывать на стол воблу, хлеб, вареную картошку. Дед вытащил из-за пазухи соленые огурцы.

— Без вина, — сказал он, — дыхать можно. Главное, что человек в себе носит.

— Ты опять? — встревожился Лаврентий.

— Чего опять? Я говорю, — не в одном вине праздник.

— А в чем же тебе еще праздник?

— Эх, милый, сказал бы я тебе, да опасаюсь, что ты в мое понятие не взойдешь. Ты выйди на лес погляди — чем тебе не праздник!

— Я этот лес тридцать годов вижу, — недовольно ответил Лаврентий. — А ты меня будешь учить.

В избе попахивало дымком из самовара. Я вышел, чтобы немного отдышаться, на крыльцо. Дед вышел следом за мной.

— Ты подумай, — сказал он мне. — Вот так сыплет и сыплет с небес этим самым снежком на тыщи и тыщи километров. Чем не праздник? Было бы у меня здоровье, да разве я бы тут сидел, у Лаврентия! Мигом бы подался на озера. Там сейчас удивление из удивлений — снег по пояс, дерева стоят, как невесты. И все светится, хоть и поздняя ночь, Вот она, пришла хозяйка-зима. Молчит красавица наша, умылась студеной водой из серебряного кувшина.

Дед помолчал.

— Вот Лаврентий меня все пытает, куда это я поперся в такую погоду. А я ему этого сказать не могу. Никак! Он человек рассудительный, он в своих рамках живет. До чужой души он не охочий. Как же я ему скажу, по какому случаю я в такой снег плетусь из Лопухов да в самое Костино.

— А чего, отец? — спросил я.

— Да как тебе сказать. Вроде как и неловко. Один я, понимаешь. Бабка моя давно померла. Бобыль я — и есть бобыль. Одна у меня дочка, Катерина. Грешить не буду, — красавица. В мать, что ли, пошла. Я-то с малолетства был человек

корявый. Вроде пришлепанный какой-то. Да-а. Вот я и надумал, — сам я, мол, только топором тяпать научился за все свое земное существование, да пахать, да сеять, да так кое-что ладить по хозяйству, а уж Катерину выведу на большак, на широкую дорожку. И что ж ты думаешь, — вывел! Власть наша мне в том, конечно, помогла. Садовод она у меня, Катерина. В Костине. Там, брат, такие сады, — сомлеешь! Осенью туда не ходи, — яблочный дух там такой, что с реки, с пароходов слыхать. И весной еще пуще не ходи, когда сады расцветают, — три раза сомлеешь. Да-а. Вот Катерина там и работает. Наградили ее нынче высокой наградой. По радио об этом говорили. Да-а. Она мне, значит, отписала: «Я, пишет, к тебе приеду под Новый год, у меня два дня свободных. На лыжах, пишет, приду. С подругой». Это за сорок-то километров! Ну, а мне, сам понимаешь, невмоготу сидеть в избе, дожидаться. Грудь точит и точит. Дай, думаю, пойду ей навстречу. Разминуться нам негде. Вот и пошел. А тут снег по колено. Мимо кордона она, понятно, не пройдет. Обязательно зайдет погреться. Это уж точно! Только Лаврентию ты про это молчи.

— Не беспокойся, отец.

Дед затоптал цигарку и ушел в избу. Я остался

на крылечке. Снег падал все так же бесшумно и настойчиво.

Мне почему-то захотелось встретить первому Катерину. То, что дед поделился своей тайной только со мной, как будто роднило меня с нею.

Стало так тихо, что, когда я зажег спичку, чтобы посмотреть, который час, она ярко горела, потрескивая, и пламя ее совсем не дрожало. Было четверть двенадцатого.

«Хорошо! — подумал я. — Ночь в лесу, глухая зима и ожидание встречи. Так уж повелось, что в новогоднюю ночь всегда ждешь событий».

Я прислушался. В лесу был слышен легкий шорох, потом послышался стук, будто кто-то зацепил палкой за дерево. Кто-то шел к сторожке. Это, конечно, была она, Катерина.

И это действительно оказалась она.

Она подошла к крылечку, остановилась, стащила с головы вязаный шлем и стряхнула с него снег. Она меня не видела.

Я молча смотрел на нее в тусклом свете, падавшем из оконца. Даже в этом свете было видно, как горят ее щеки и глаза и как тяжело она дышит.

— Вас отец здесь ждет, — сказал я. — Уже давно. Катерина подняла голову, пригляделась ко мне и ответила смеющимся низким голосом:

— Вот и хорошо. А я опоздала. Трудно идти. Снег сырой, прилипает.

— А где же ваша подруга?

— Да никакой подруги нет. Это я нарочно отцу написала, чтобы он не беспокоился. Я одна.

Она начала обтирать лыжи. Я смотрел на ее мелкие движения, на ее рыжеватые блестящие волосы, слушал ее свежий голос.

— Ну, теперь познакомимся, — сказала Катерина и протянула мне крепкую, горячую и мокрую от снега руку. — Говорят, раз люди встретились в эту ночь, значит, весь год будут видеться друг с другом.

— Да, если бы! — сказал я и смутился.

Она тоже смутилась, быстро взбежала по ступенькам и вошла в избу.

А снег все падал и падал на ее лыжи, прислоненные к стене, и на маленькие варежки, засунутые за ремни. И не то от варежек, не то от снега тянуло свежим и слабым запахом еще далекой весны, первых лесных фиалок.

1950

Встреча

Крым резко делится на две части: западную — нарядную, полную блеска, листвы, и восточную — каменистую, сухую, где летом только маки цветут на сухой земле и неделями висят над горами сонные облака.

В восточном Крыму бывал я летом. Потом приехал туда в конце осени. Я начал писать повесть, и мне хотелось уйти на время от напряженной московской жизни.

В этих безлюдных местах я выбрал самое уединенное место — уцелевший после войны низенький дом над морем у подножия горы Карадаг. Дом стоял в трех километрах от ближайшего поселка. В нем жила пожилая женщина Настя с дочерью Любой.

— Да живите, где хотите, — сказала мне обрадованно Настя. — Дом пока что пустой. Мы вам поставим стол и табуретку. И тюфяк у меня есть лишний. Из морской травы. И печка здесь хорошая, целая. Живите! И нам будет веселее. А то зимой штормы такие тяжелые, что мы с Любой, бывает, до самого свету не можем заснуть. Хотя, если правду сказать, штормы нам на руку.

Настя с дочерью работали на берегу, в нескольких километрах от дома. Они заготовляли гравий для ремонта шоссе, сгребали его в большие кучи. Потом приходил грузовик и забирал гравий. Каждый новый шторм намывал свежие валы гравия.

Настя с Любой возвращались домой к сумеркам. А потом Люба еще долго сидела при лампочке над учебниками: она заочно готовилась к экзаменам за последний класс средней школы.

Муж Насти работал до войны на цементном заводе. Когда пришли немцы, кто-то донес на него, будто он держал связь с партизанами. Зимним утром немцы ворвались в дом, взяли Настиного мужа и повели к морю. Они заставили его раздеться, войти по пояс в ледяную воду и дали по нему очередь из автомата. Море тут же выбросило его труп. Настя похоронила мужа у берега. Могилу она завалила камнями и запутала колючей проволокой.

По утрам Настя и Люба брали лопаты и шли на берег. Я оставался один и работал. В свободное время я уходил к Карадагу по узкой и опасной тропе. Тропа шла над самым морем и приводила к маленькой бухте под отвесной скалой. Вершина ее всегда терялась в тучах. Тучи эти были рядом. Я хорошо видел, как они медленно клубились.

Когда налетал ветер, тучи начинали метаться из стороны в сторону, разрывались на клочья и падали на берег. Иногда в лицо бил дождь.

Но в конце декабря наступило безветрие. Шторм стих ночью, а утром глубокая тишина и теплота уже расстилались над пустынными долами побережья.

В это первое тихое утро мальчишка принес мне с почты телеграмму. Меня вызывали в Москву.

Мне не хотелось уезжать, но, раз надо, пришлось смириться. В оставшиеся до отъезда два дня я решил отдохнуть, заняться рыбной ловлей.

Я тотчас начал налаживать «самолов» — длинный шнур с несколькими крючками и тяжелым грузилом на конце.

Я никогда зимой не ловил рыбу в море и решил попробовать, что из этого выйдет. Очень долго провозился с «самоловом», а когда пришел на берег, оставалось часа два до темноты.

Я раскинул над головой «самолов» и далеко закинул его в воду. Конец шнура намотал на палец, сел на холодную гальку и стал ждать. Слоистые облака разошлись и открыли полосу чистого неба.

«Самолов» сильно дернуло. Я начал быстро выбирать шнур и вытащил морского окуня. Он

переливался всеми зелеными и синими красками, какие, должно быть, есть на земле.

— Вот и поймали! — сказала у меня за спиной Люба.

Я оглянулся. Люба стояла на маленьком камне, где едва помещались ее ноги. Она старалась удержаться на нем, но это было трудно. То одна, то другая нога соскальзывала с камня, и Люба смеялась.

Потом Люба соскочила с камня и села рядом со мной. Я вытащил второго окуня.

— Я мешать не буду, — сказала Люба. — Посижу тут немного и пойду. В Якорную бухту.

— Что ж так поздно? — спросил я.

— Луна скоро взойдет. Я не боюсь.

— А что там, в Якорной? — спросил я. — Что за дело такое срочное?

Люба улыбнулась и ничего не ответила. Я вытащил еще двух рыбок. Облака незаметно ушли в сторону Феодосии. На темнеющем небе проступили звезды. С каждой минутой свет делался ярче, и наконец одна звезда заиграла на самом краю моря и отразилась в спокойной воде.

— Да это не звезда, — сказала Люба. — Это теплоход идет на Ялту.

Она помолчала.

— Теплоход идет на Ялту, — повторила она и незаметно вздохнула. — Мне уезжать отсюда и хочется и не хочется. А уехать придется: надо же мне дальше учиться!

Она опять помолчала.

— Только маму жалко, — добавила она. — Мама отсюда ни за что не уедет. Привыкла. Да и отец тут похоронен. Мама у меня робкая. Я вас про многое хотела расспросить, да мама не позволяет, чтобы я вам мешала.

Люба встала, поправила волосы.

— Ну, что ж, я пойду, — сказала она неуверенно и замолчала, как будто ожидая, что я ей отвечу на это.

Я молча стал сматывать «самолов». Он, конечно, запутался.

— Вы были в Якорной? — спросила Люба, взяла «самолов» и стала его распутывать. — Погодите, не дергайте!

— Нет, не был. А что там, в Якорной бухте?

— Да ничего. Есть один старичок хороший…

— А чем он интересный, этот ваш старичок?

— Интересный, и все! — ответила Люба. — Я рассказывать не умею.

— Пойти мне с вами, что ли? — спросил я.

— Как хотите. Он, конечно, обрадуется. Я ему

про вас рассказывала.

Дорога в Якорную шла среди невысоких гор. Луна еще не взошла, но какой-то неясный свет падал на землю и помогал нам идти. По левой руке тянулся кряж однообразных горбатых вершин. В темноте они напоминали окаменелый караван верблюдов. На одном из этих каменных верблюжьих горбов много лет назад был похоронен известный поэт, уроженец этих мест. Я сказал об этом Любе.

— Я знаю, — ответила она. — Только я его не читала. Не достала его книгу.

— А что вы читали?

— Я много читала. И все помню. Колючки какие — просто идти невозможно!

Она остановилась и оторвала от платья колючку.

— А что же вы запомнили лучше всего?

— Что? — переспросила Люба. — Одни слова я запомнила. А чьи они, так это я позабыла.

— Какие слова?

— Да как-то их трудно даже вам рассказать. Неловко. Ну, ладно! Есть такие слова: «Человек создан для счастья, как птица для полета»?

— Есть.

— Ну, вот. Про них я и говорю. Это правильно

сказано? Как вы думаете?

— Правильно.

Я замолчал. Молчала и Люба. Ночь лежала над побережьем. И почему-то эта ночь показалась мне необыкновенной, тогда как, если разобраться, в ней не было ничего особенного. Я думал о поэте, о поэзии… Может быть, это чувство поэзии родилось и от ночи, и от того, что рядом со мной шла загорелая, обветренная, сероглазая девушка и несла с собой целый мир мыслей, чистоты, волнения и веселости. А у меня все это вызывало едва приметную, но законную грусть оттого, что эта девушка только что входит в жизнь; она остановилась на пороге «страны чудес», а я уже прошел по этой стране далекий и долгий путь, и мне бесконечно жаль, что я не могу пройти его снова и снова.

Потянулись кустарники, потом какой-то низкорослый лес, и, наконец, открылись редкие, но яркие огни поселка в Якорной бухте. Луна уже поднялась. При ее свете я посмотрел на часы — было еще рано, всего половина девятого.

Мы свернули с дороги, перелезли через низкую каменную изгородь, прошли через виноградник и остановились около беленного мелом дома. Свет падал сквозь щель ставни. В его полосе чернела

ветка дерева с крупными, еще не облетевшими листьями.

— Здесь, — сказала Люба и постучала в ставню.

Дверь нам открыл низенький старик. Старик этот показался мне поначалу колючим, — может быть, потому, что щетина торчала белой щеткой на его суховатом лице, а может быть, потому, что глаза блестели остро и даже насмешливо.

В низкой комнате пахло вином.

— Вот, — сказала смущенно Люба, — я к вам по делу пришла, Петр Петрович. А это наш жилец, тот, про которого я говорила…

— Все правильно! — старик явно был рад нашему приходу. — А то я уже заскучал. Одиночество, знаете, — вещь полезная, но в маленьких дозах.

— Я винодел, — сказал старик, как только усадил меня в кожаное кресло, — и потому причисляю себя к служителям искусства. Виноделие — одно из самых древних искусств.

— Я давно хотел познакомиться с виноделием, — пробормотал я.

— Э-хе-хе! — старик постучал пальцами по столу. — С ним знакомиться нужно годами. Если бы вы были помоложе, я бы уговорил вас заняться этим делом. Не все же вам писать и писать. Обучил бы вас, как вот обучаю этому Любу. Ви-

ноделие! О нем поэмы надо писать! Вот, скажем, начали прибавлять к вину фосфор — и сразу же добились очень тонкого вкуса. От примеси железа вино, например, получает необыкновенно живой красный цвет. Есть у меня сухое винцо, правда, простое каберне, но мне удалось придать ему запах фиалки. При этом в нем много огня. Я открыл этот новый сорт вина путем сочетания разных веществ. Вот почему я считаю виноделие искусством.

— Пожалуй, что так, — согласился я.

— А как же! Каждое искусство требует преемственности. Преем-ственно-сти! Понимаете? Мастер должен передавать свое искусство ученикам. В любой области — и в вашей, писательской, и в моей, винодельческой.

Я не заметил, как на столе появилась бутылка вина, черного и густого.

— Я, — продолжал старик, — винодел. И из Любы я тоже сделаю винодела. На днях она уедет учиться в винодельческую школу. А когда вернется, я передам ей, как говорится, все свои «секреты» изготовления вина.

— Какая вы счастливая, Люба! — сказал я с грустью. — Я просто завидую вам.

— А я и сама рада, — ответила Люба. — Мне

только маму жалко.

Обратный путь был неожиданно бурным. Ветер шумел в кустарниках, в горах, высвистывая на зубчатых вершинах свою беззаботную песню. Шум его мешал мне слушать старика. И, помню, мы все время боялись что-то уронить и разбить, но что, я не знаю, так как было темно и я по своей близорукости не мог разобрать, что это такое мы тащим с собой.

Старик довел нас до самого дома и ушел обратно.

Через день я уехал. Настя и Люба проводили меня в поселок, до пыльного автобуса. Когда я садился в автобус, Люба протянула мне маленький сверток.

— Это что?

— Это вам от Петра Петровича, — сказала Люба. — Бутылка его вина, того, про которое он вам рассказывал.

Только сейчас я понял, что, очевидно, эту бутылку мы так боялись разбить ночью.

— Да не от Петра Петровича это вам, — сказала, улыбаясь, Настя, — а от Любы. Она бегала тогда с вами за этим самым вином. Вам на дорогу.

Вечером теплоход, на котором я уезжал, отвалил от феодосийской пристани. Как всегда во

время зимнего рейса, на теплоходе почти не было пассажиров. Я стоял у борта и старался разглядеть знакомые берега. В далекой тьме угадывался Карадаг. Я увидел — мне это не могло показаться — слабый свет у самого края горы. Может быть, эго был свет из окна Любиной комнаты.

Я спустился в каюту, откупорил бутылку стариковского вина и выпил немного — всего один стакан. Выпил за эту кремнистую землю, за зимнее море, за новых моих друзей, но больше всего за то, чтобы мимолетная наша дружба стала такой же крепкой, как сок этого рубинового вина.

1950

Ходоки

— Да як же, скажи мне на милость, — опросил Петр Софронович Игнатия Мусиевича, — люди будут кликать-называть то море, чи озеро, которого ще немае?

— Кто его знает, — неуверенно ответил Игнатий Мусиевич. — Придумают. На это люди у нас проворные, на названия.

— Чтобы название целому морю придумать, превеликую мечту надо в себе иметь, Игнатий Мусиевич. Это же море, а не простая улица или село.

Разговор этот происходил в вагоне поезда между станцией Лихой и Сталинградом. С верхней полки, свесив голову, смотрел на стариков белобрысый юноша в черной тужурке с якорями на золоченых пуговицах — ученик речного училища Леня Бобров. Он никак не мог сообразить, что это за странные старики и куда и зачем они едут. Расспрашивать их было бесполезно. На все вопросы старики отвечали замысловатыми шутками и вообще держали себя как заговорщики.

По некоторым признакам выходило так, что старики как будто едут на строительство Вол-

го-Донского канала. Но на что они там нужны? Рассказывать сказки? Или приглядывать за младенцами? Похоже, что это были старые рыбаки. А может быть, они едут погостить к своим сыновьям или замужним дочкам. Так зачем же это скрывать?

В конце концов Лене надоело ломать голову над этой загадкой, и он решил действовать так же хитро, как и старики.

— На станции Кривая Музга, — сказал он небрежно, — отцепят наш вагон и подадут оттуда на Калач. Так что если вам, деды, ехать дальше — на Сталинград, то будьте готовы, — в Кривой Музге у вас пересадка.

— Это безусловно правильно! — сказал Игнатий Мусиевич.

— Что правильно?

— Что отцепят. Железнодорожное начальство безусловно знает, что ему полагается делать. Имеет инструкции.

— Значит, поедем мы с вами в Калач? — с наигранной беззаботностью сказал Леня.

— А что же, — заметил Петр Софронович, — и в Калаче и подале за Калачом люди неплохо живут.

— А вы что ж, дедушка, — спросил Леня, — бы-

вали в том Калаче?

— Я скрозь бывал и горилку пивал и, как говорится, и по усам не текло и в рот не попадало.

— Ну и веселые деды! — сказал несколько даже льстиво Леня Бобров, — Сразу видно, к детям своим едете погостить.

— Наши дети — заводные сети, — ответил со вздохом Игнатий Мусиевич, — вот кто наши дети.

— Была такая стариннейшая солдатская песня, — добавил, в свою очередь, Петр Софронович. — Сам я ее пел, будучи в царской армии. «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваши сестры? Наши сестры — пики, сабли востры, вот где наши сестры!»

— Ну да, дело у вас рыбацкое, — сказал, подумав, Леня Бобров. — Ясно!

— Дело наше не рыбацкое, а цыганское. Вот ездим, ума набираемся. А наберемся — до своей хаты вернемся.

— Вернемся, это верно! — охотно согласился Петр Софронович. — Справим, что требуется, и айда до дому!

— А вы часом не из Темрюка? — спросил наугад Леня.

— До того Темрюка не дотянулась ще наша

рука, — ответил Игнатий Мусиевич.

— Значит, без роду и племени, — сказал наконец в сердцах Леня.

— Нет. Мы роду рабочего, а племени — к работе охочего, — снова так же складно ответил Игнатий Мусиевич и этим ответом привел Леню Боброва в совершеннейшее расстройство.

«Хватит у меня своей заботы, — подумал Леня, — а я еще буду с этими стариками играть в кошки-мышки. В самом деле, еду на практику на строительство канала, на новейший в мире землесос. Об этом прежде всего надо подумать, о том, чтобы не осрамиться после школьной скамьи, а не связываться с этими дедами. Какое мне до них дело!»

В этих мыслях Лени Боброва было все же несколько капель горькой обиды. Дело в том, что Лене Боброву казалось, что весь вагон должен если не завидовать ему, юному речнику, едущему на такое ответственное и знаменитое дело, то, по крайней мере, относиться к нему, Лене, с уважением и некоторым удивлением. Да так оно и было. Кому бы из попутчиков Леня ни рассказал о своем назначении, все радостно удивлялись и говорили:

— Вот, совсем еще мальчик, а уже едет на стро-

ительство! Да еще на землесос! Повезло молодому человеку.

И потом шла приятные для Лени рассуждения, что на строительство безусловно посылают самых отборных и способных людей.

Так говорили все, кроме этих двух упорных стариков. На них назначение Лени Боброва на землесос не произвело никакого впечатления, хотя Леня и рассказал им, что это мощнейший землесос, заменяющий труд нескольких тысяч человек. Должно быть, старики просто ему не поверили. Между собой они называли Леню «дытыной», ребенком, и это тоже было до некоторой степени обидно.

Поэтому Леня почувствовал даже легкое удовлетворение, когда в Кривой Музге старики вышли вместе с ним из вагона и сразу же, как только ступили на деревянную платформу, оробели, засуетились и начали расспрашивать всех, как проехать на будущее водохранилище.

В конце концов какой-то мрачный на вид шофер забрал их, усадил в кузов грузовой машины и умчал со станции в клубах пыли. А Леня так и остался в недоумении: что же это за старики?

А старики, трясясь на машине, понемногу успокоились и даже начали посмеиваться над

любопытным юношей из вагона.

— Ох, и цикавый же хлопчик! — говорил Игнатий Мусиевич. — Ему требуется все знать, что до его носа не касается. Ну, и покрутили же мы ему голову. Попомнит он нас, Петр Софронович.

— Я тоже так думаю, что попомнит, — отвечал Петр Софронович, но отвечал неуверенно: ему было сейчас не до Лени Боброва. Чем ближе они подъезжали к будущему водохранилищу, тем сильнее удивлялся старик.

Все было здесь ново и непонятно: великолепное асфальтовое шоссе и рядом огромные навалы глины, курящейся пылью, грохочущие ковшами экскаваторы и нарядные поселки из белых, розовых и голубых домов, зеленоватый налет цемента на всем и машины, похожие на черных железных крабов. Кто его знает, как даже зовутся эти машины и какое они имеют предназначенье. На тех машинах управляются девушки в красных косынках. И как это может девушка своей слабой рукой двигать такую машину?

А когда Петр Софронович увидел в сухой степи большой мост, стоявший на высоких бетонных устоях прямо над землей, над большой канавой, где не было еще ни капли воды, и когда шофер остановил машину, чтобы прочистить свечи в

моторе, и сказал, что это мост через будущий канал, через будущую реку, то Петр Софронович окончательно смутился. Он вылез из кузова машины, потрогал колючий бурьян, что вырос около устоев моста, и робко спросил шофера:

— Да неужто тут хлынет вода?

— Раз я говорю, — ответил несколько даже нахально шофер, — значит, так и будет. Прошу не сомневаться!

Петр Софронович смотрел на мост и удивлялся. Удивлялся и Игнатий Мусиевич. В это время около грузовика остановился «ЗИС-110», дверца машины отворилась, и из нее вышел плотный высокий человек в сапогах и в костюме бетонного цвета. Только присмотревшись, можно было заметить, что костюм этот был коричневый, но до того пропылился, что казался совершенно серым.

Шофер, как только увидел плотного человека, быстро опустил над мотором покрышку, хотя еще не прочистил свечи, и сказал преувеличенно громким голосом:

— Доброго здоровья, товарищ начальник!

— Здравствуйте, — ответил начальник и усмехнулся. — Вы с какого участка?

— С участка товарища Земляного, — ответил

шофер и явно, у всех на глазах, оробел, даже голос у него как-то притух.

— Ну, что ж, — сказал начальник, — чините мотор, не теряйте времени. Кого вы везете? Кто эти почтенные граждане?

— Да вот… двое… — ответил шофер и с досадой посмотрел на стариков. — Престарелые люди… Приехали на водохранилище, а дороги не знают. Старикам, как говорится, товарищ начальник, везде у нас почет.

Начальник обернулся к Петру Софроновичу и Игнатию Мусиевичу. Шофер делал им какие-то знаки глазами, как бы стараясь предупредить стариков, что перед ними стоит очень большой начальник, может быть, даже начальник всего строительства, но старики догадались об этом и без подмигиваний шофера.

— Вот, — сказал Петр Софронович, — любуемся, товарищ начальник, на произведение рук человеческих, на этот мост. И не тому дивимся, что мост этот очень хороший, очень крепкий, а тому, что стоит он уже готовый посередь степу, а воды под ним ще немае.

— Предусмотрительности людей дивимся, — почтительно пояснил Игнатий Мусиевич.

— А у вас что на водохранилище? — спросил

начальник. — Дело какое-нибудь?

— Безусловно, маленькое дельце есть у нас в ваших палестинах, — сознался Игнатий Мусиевич и рассказал начальнику, зачем он вместе с Петром Софроновичем прибыл в эти палестины. — Сами мы, можно сказать, старейшие рыбаки с Петрушиной косы, с Азовского моря. Нам, конечно, уже давно известно, что прорывают сейчас канал, водяной ход из Волги в Дон. Это же с нами по соседству. И на том канале будут запружены великие воды для пропитания канала водой и для напоения сухого степного здешнего места. Будут те великие воды вроде как моря и заполнятся, понятно, несметной силой всяческой рыбы. А народонаселение по тем новым морям, конечно, кругом сухопутное и морского нашего и рыбацкого дела и обихода понимать не может. Им что кливер, что сейнер, что румпель или, скажем, гальюн — все одно. Прямо сказать, гречкосеи. А ныне произойдет по тем морям возникновение рыболовецких промыслов и артелей, по-старому — ватаг. А как к тем промыслам приступить, понятия еще настоящего нету.

Начальник вынул из кармана коробку папирос «Казбек» и протянул ее Игнатию Мусиевичу и Петру Софроновичу. Петр Софронович не курил,

а Игнатий Мусиевич хотя тоже не курил, но папироску из почтительности взял.

— Да-а, — сказал, помолчав, Игнатий Мусиевич. — Была у нас на косе молодая рыбачка Маруся Жильченко. Вышла она годов тридцать назад за дальнего человека, за Ивана Сидоренко, и уехала с ним по-за Дон, кудась к самой Волге. Там она с ним всю жизнь и прожила и нашу Петрушину косу с той поры ни разу не навестила. Однако всегда сердце человеческое тянется к родительским местам, к своему, как говорится, тыну. И у Маруси сердце до нас сейчас обратилось, и получили мы от нее знаменательное письмо. Пишет Маруся, что у них идет подготовка к сотворению рыболовной артели, однако никто в ум себе не возьмет даже такого пустого дела, как оснастить или, скажем, засмолить шаланду. «И как это давно стало у нас известно в поселении, — пишет Маруся, — что я, старая, происхожу родом с Азовского берега, то пришли до меня люда с просьбой отписать вам, старейшим опытным рыбакам, не может ли быть от вас нам некоторой помощи. Вот я и пишу. Прошу вас сердечно не отказать в моей просьбе, так как я есть и остаюсь и здесь, в сухом степу, азовской рыбачкой и меня даже зовут все здешние люди Маруся Приморская».

Так вот. Получили мы то письмо с берегов будущего моря и надумали вдвоем с Петром Софроновичем поехать подсобить добрым людям. По тому соображению, что мы, старые, у себя на косе не при работе, от нашего отсутствия никакого ущерба там не будет, а здесь получится польза. Петр Софронович хорошо понимает по части засмолки и сетевого хозяйства, а я кое-что маракую по части такелажа и парусного дела.

— Вот за это спасибо! — сказал начальник, и на усталом его лице появилась улыбка. — Садитесь ко мне в машину. Я вас довезу до водохранилища. Крюк небольшой — километров пятьдесят, не больше.

Старики, кряхтя и дивясь просторности машины, осторожно сели в нее, дверцы захлопнулись, и машина, выбрасывая из-под колес струю пыли, умчалась в сторону водохранилища.

Начальник был рад этой встрече со стариками. Она была для него тем, что он называл «переключением». Почти круглые сутки, кроме четырех-пяти часов сна, его память должна была хранить сотни важных и неотложных дел и тысячи мелочей. Без них было немыслимо строительство. Чтобы память не устала и не «отказала», нужны были иногда «переключения»:

или разговор, далекий от строительства, хотя бы об охоте на стрепетов, или несколько страниц из романа, или, наконец, какая-нибудь неожиданность, вроде встречи с этими стариками. После каждого такого «переключения» начальник заметно отдыхал.

Вот и теперь, сидя в машине вместе со стариками, слушая их и заставляя себя вникать в каждое слово их рассказа, начальник видел песчаную косу на Азовском море, хаты с высокими деревянными порогами, тонкие сети, сваленные горами на берегу, и это воображаемое представление освежало его так же сильно, как если бы он действительно побывал на этой косе и уснул на часок-другой в тени, в «холодке», на скользкой соломе под плетнем, слушая сквозь сон, как равномерно шумит море, занятое своей вековечной и великой думой.

Глядя на стариков, начальник вспомнил о своем отце. Все личное как-то отошло у него за последнее время на дальний план. Начальник шутил над собой и говорил, что теперь он не человек, а строительная организация, и у него нет времени даже на воспоминания. Но несмотря на это, он часто вспоминал отца — старого литейщика, доживавшего свой век на Волге, в

Горьком, — такого же неспокойного старика, как и эти двое рыбаков. О литье но могло быть теперь и речи, и старик занялся выращиванием в своем домишке на окраине города лимонов.

«Удивительно, — думал начальник, — как это человек никогда не может успокоиться и всегда должен быть чем-нибудь новым. Если разобраться, то они с отцом заняты одним и том же делом. Оба заставляют природу подчиняться воле человека. Отец растит лимоны в Горьком, а сын перекраивает лицо земли здесь, на юге.

Да, отец был очень похож на этих стариков. И добродушием, и подвижностью, и своей зоркостью. Вот заметили эти старики именно то, что не все и не всегда замечают на строительстве. Увидели то, что говорит о близком будущем: мост над еще не существующей водой. Заметили и обрадовались.

И дело, по какому они приехали, — тоже все в недалеком будущем. Дело, может быть, и небольшое при исполинском размахе работ, но нужное, хорошее дело. Надо им, конечно, помочь».

Начальник высадил стариков в поселке около дома Сидоренко, попрощался с ними, и машина умчалась в сторону Волги.

Начальник курил и улыбался. Редко бывали у

него такие спокойные минуты глубокой уверенности в своей работе и полного отсутствия забот. Двое этих стариков были для него как бы первыми вестниками победы, вестниками завершения исполинской работы.

Без громких слов, без приподнятого умиления, а просто, по-деловому, даже как-то по-родственному, приехали они на берега будущего озера-моря налаживать новую жизнь. Приехали потому, что их вера в победу человека над природой, в умелость рук и могущество разума была ясна, непоколебима и даже несколько сурова, как это всегда бывает у стариков. Нужно было, очевидно, прожить нелегкую трудовую жизнь, чтобы приобрести такую веру, не знающую колебаний.

1951

Первый туман

Ночью пассажирский пароход вышел из последнего шлюза на Волго-Донском канале и дал протяжный гудок. Начиналось Цимлянское море.

Берегов нового моря не было видно. Только огни бакенов раскачивались на взволнованной ветром воде, да на западе мигали зарницы. В их беглом блеске появлялись и гасли громады низких грозовых облаков.

Пассажиры собрались на палубе. Все напряженно смотрели на воду, освещенную пароходными огнями, будто это была таинственная, сказочная вода, а не обыкновенная донская, запруженная далеко на западе огромной плотиной.

Многим казалось, что и цвет и запах у этой воды совсем иные, особенные, хотя от нее, как всегда, чуть тянуло нефтью и цвет ее был ночной — черный, как тушь.

— Какая она, должно быть, прозрачная днем! — сказал молодой женский голос.

Очевидно, все согласились с этим, так как никто но возразил женщине. И только гораздо позже хрипловатый мужской голос неожиданно

сказал:

— На Дону этой ночью окончательно зреют хлеба. Самое ответственное время.

— Откуда вы это взяли? — спросил тот же женский голос.

— Зарницы всегда играют, когда зреют хлеба, — ответил мужчина.

Женщина засмеялась:

— Вечно вы что-нибудь придумаете, Иван Петрович!

— Заметьте себе, — возразил мужской голос, — что я никогда ничего не придумываю. Считаю это излишним. Я, как вам известно, метеоролог и привык иметь дело с точными цифрами и явлениями.

— И напрасно не придумываете, — заметила женщина.

— Предоставляю это писателям и поэтам, — сердито сказал метеоролог.

Писатель Макаров, стоявший невдалеке, только поежился: «Да, с этим метеорологом, пожалуй, никак не споешься». А Макаров как раз собирался познакомиться с ним и поговорить об изменении климата в южных степях в связи с появлением нового Цимлянского моря.

— А я вот, наоборот, — проговорил чей-то

спокойный голос, — считаю, что воображение помогает науке и развитию практической жизни.

Метеоролог не принял этого вызова из темноты и промолчал. Тогда спокойный голос сказал:

— Да вы же сами прекрасно знаете, что если бы не было человеческого воображения, если бы не было у нас способности представлять себе будущее, то не было бы никаких новых морей, лесов и каналов.

Метеоролог снова промолчал, а женщина сказала с досадой:

— И охота вам, Иван Петрович, изображать ходячую таблицу умножения!

— Ну, ладно! — согласился метеоролог. — Не будем сейчас спорить.

— Вот именно сейчас, — вмешался Макаров. Он не любил людей без полета, без воображения. Давно уже он заметил, что такие люди относятся с пренебрежением ко всему, что, по мнению Макарова, украшает жизнь, — к веселью, выдумке, шутке, поэзии, — и считают, что только точное знание и деловой расчет — ценности жизни.

Таких людей Макаров называл «родоначальниками скуки». От них никакой радости — ни себе, ни другим.

— Именно сейчас, — повторил Макаров, — от-

рицать воображение просто нелепо, когда вы плывете по этому новому морю над теми местами, где вчера еще лежала сухая, перегоревшая степь.

— Что же вы думаете, ваши мечтатели создали это море? — спросил метеоролог.

— Да, мечтатели! — уже сердясь, ответил Макаров. — Такие, как, может быть, вы.

— Вот за это спасибо!

— А вы не прибедняйтесь! — резко сказал Макаров. — Зачем это вам нужно?

— Что нужно?

— Изображать из себя сухаря. Ваша наука, между прочим, пока еще одна из самых неточных. И какой бы вы были метеоролог, если бы не думали о тех временах, когда человек будет создавать погоду по своей воле.

— Оно так и случится, — сказал капитан парохода. Он вышел на палубу и курил, стоя позади пассажиров. — Вековечная мечта моряков.

«Да, — подумал Макаров, — вековечная мечта всех земледельцев, моряков, всех людей о постоянном голубеющем штиле над прозрачными морями, о вечном лете, о влажной теплоте, когда почти на глаз видно, как растет пшеница и наливаются соком помидоры. Человек проложит

новые небесные дороги для дождей и гроз, дороги в те области земли, где дожди больше всего нужны. Человек уничтожит губительные ветры, и только легкий бриз будет дуть над лугами и переносить цветочную пыльцу».

Ослепительно мигнула зарница, и в глухих необъятных далях зародился первый гром. Он приближался, нарастал, пока не загремел над морем от края до края. От тучи подуло холодноватым ветром.

— У меня есть маленький мальчик, мой сын, — сказала женщина и тихо, про себя засмеялась. — Он очень любит грозу. Каждый раз говорит: «Мама, пойдем смотреть грома». А я боюсь грозы.

— Ничего, Маша, — сказал метеоролог, — она уже уходит на северо-восток. Нас не заденет.

Пассажиры разошлись. Макаров остался на палубе. Он не мог сейчас уснуть. Будут еще в жизни сотни ночей, когда он успеет выспаться, а такая ночь никогда не вернется. Первая ночь на обширном и глубоком этом море, созданном руками советских людей, его соотечественников, его друзей, его сверстников.

«Какое величавое, простое и человечное время», — подумал Макаров и вдруг с новым раздражением вспомнил о метеорологе. «Небось

уже храпит в своей каюте. Откуда только берутся в нашей стране эти нудные люди? Эта холодная кровь? Эти пустые глаза? Кому они нужны в юной нашей жизни? От них хмурятся дети и гаснет девичий смех».

Макаров просидел на палубе до рассвета. Гроза, действительно, ушла на северо-восток и все реже сигналила оттуда розовыми вспышками зарниц.

Когда начало светать, Макаров увидел невдалеке от себя седого человека в очках. Он сидел в сыром от росы плетеном кресле и смотрел на море.

Заря синела, разгоралась. В очень высоком, как бы распахнутом в глубину небе догорали звезды, бледные, как капли воды.

Человек в очках встал и показал Макарову на белую пелену, лежавшую над морем.

— Смотрите! — сказал он. — Наконец-то!

— Что наконец-то? — не понял Макаров.

— Да это же туман! Разве вы не видите? Туман! — радостно повторил он. — Это море родило здесь туман.

— Ну и что же? — спросил, недоумевая, Макаров. Он не понимал, почему этот незнакомый человек волнуется из-за такого, в сущности, пустяка, как предрассветный туман.

— Как «что же»? — сказал в сердцах незнакомый человек. — Да вы понимаете или нет? Туман в этих местах в половине лета! Да это же чудо! Это же влага! Свежесть! Роса! Об этом можно было только мечтать нам, метеорологам, чтобы здесь наконец появились такие летние туманы.

— Ах вот как! — с легким злорадством сказал Макаров, Он понял, что говорит с ночным метеорологом. — Значит, об этом можно было только мечтать!

— Ну, конечно! — ответил метеоролог.

— А я, признаться, думал, — заметил Макаров, — что вы навсегда потеряли способность мечтать.

Метеоролог снял очки и, прищурившись, посмотрел на Макарова.

— Эх, молодой человек, молодой человек! — сказал он с укором. — Скоропалительно думаете! Ну, скажем, разве вы и вправду верите в то, что есть у нас хотя бы один человек, который бы ни о чем не мечтал? Особенно о том, что связано со счастьем людей…

— Но ночью, — пробормотал, растерявшись, Макаров, — вы говорили совершенно обратное.

— Не знаю, кто вы по своим занятиям, но проницательности у вас, как видно, мало. Мало,

молодой человек. Просто я не люблю преувеличений, восхищений, громких слов и всего такого прочего. И не люблю всего этого потому, что глубочайшим образам люблю природу, силу человеческого духа и настоящую человеческую мечту. А она никогда не бывает крикливой, молодой человек. Никогда! Чем больше ее любишь, тем глубже прячешь в сердце, тем сильнее ее бережешь. А вы-то этого, оказывается, и не поняли.

— Простите, я и вправду не понял, — сознался Макаров и покраснел.

— А небось литератор? — заметил метеоролог. — Ну, ничего! Бывает. Смотрите, подходим к Цимлянской.

Пароход снова загудел торжественно и протяжно. Пассажиры начали торопливо подыматься на палубу.

Вышла и молодая женщина с маленьким сонным мальчиком на руках. Ей, должно быть, трудно было его держать. Она немного перегибалась назад, и по тонким и нежным очертаниям ее тела было видно, что она очень молода, сын этот у нее — первый и единственный. Макаров догадался, что эта женщина бранила метеоролога ночью. Сейчас она ему нежно улыбнулась и сказала:

— Опять вы всю ночь не спали, Иван Петрович!

Выдумщик вы, вот что!

— Мама, это пожар? — спросил мальчик и показал на запад, где в первых лучах солнца пылали десятки маленьких солнц в окнах гидростанции.

— Нет, сынок, — ответила женщина. — Это плотина. И станция. Это конец Цимлянского моря.

— Ну вот, — сказал мальчик. — Разве вы не могли его сделать еще больше, протянуть вон туда!

Мальчик показал на запад, а женщина улыбнулась и ответила:

— Это уж ты, когда вырастешь, протянешь море дальше. А мы пока довели его до этого места.

— Ненасытный возраст у моего внука, — заметил метеоролог.

Пароход шел малым ходом. Плотина медленно наплывала. Над ней сверкало небо в своей чистейшей синеве — небо раннего утра, очищенное от пыли и знойной мглы теми великими и прохладными водами, что были остановлены здесь навеки сильной и умелой рукой советского человека.

1952

Очерки и публицистика

С берегов Куры

Тифлис

Над мутной, зеленой Курой, в ярком солнце, Тифлис густо пенится желтыми плоскими крышами и серыми шатрами армянских церквей.

И на всем — серовато-желтый цвет окрестных гор, цвет верблюжьего меха, цвет, напоминающий пустыни Азии, монотонность ее горячих степей.

А в темных щелях армянского базара, откуда несет запахом шашлыка и стучат до вечера молоточки чеканщиков, бродят облезлые подслеповатые верблюды и ходят толпами, перебирая точеными ножками, здешние добродушные, многотерпеливые ишачки.

Базар — как персидский ковер — смесь оливковых и темных персов, диких горцев в черных башлыках, кир-пично-бронзовых текинцев, красноролжих весельчаков «кин-то», вечно вздыхающих и жарящих каштаны айсоров, красноармейцев в суровых шлемах и темно-зеленых шинелях, словно высеченных из дикого камня, и забредших сюда «фешенебельных» иностранцев

в лакированных туфлях и серых макинтошах.

И над всем этим висят вопли ишаков, треск жаровен, чад, бодрые крики автомобилей и густое небо.

Тифлис не знал гражданской войны. И это заметно повсюду. Нигде я не видел такого громадного количества сердитых старых чиновников с облезлыми бархатными околышами, чопорных в нищете офицерских свояченицы, донашивающих убогие меха, и хрипунов генералов, торгующих на Головинском проспекте папиросами.

В Тифлисе — это целый мир брюзгливых осколков от прошлого. Он не ждет возвращения старого, но хранит все его традиции, все мелочи старого быта. И генералы с папиросами, стоящие на Головинском, говорят постоянным покупателям «здравия желаю» и величественно козыряют, а у офицерских свояченицы целуют почтительно руку в заштопанных нитяных перчатках.

А в советских учреждениях — небывалая чистота, зеркала паркетов, тишина, ковры, ковры и ковры и осторожное позванивание телефонов. И всюду то гортанный, то свистящий говор и затейливая вязь грузинских и армянских надписей. Над белыми колоннами александровских зданий, над храмом Славы с оградой из бронзовых

пушек, над бывшим дворцом наместника, всюду трепещут по ветру громадные красные флаги.

В уличной жизни Тифлиса нет нездоровой, визгливой, подозрительной суеты Одессы и Батума, наполненного англизированными одесситами. Здесь — сдержанное оживление, нет ажиотажа (по крайней мере, заметного), здесь большей частью крупные и верные дела.

На днях я просматривал описок экспонатов, отправляемых Закавказьем на Лионскую ярмарку, и только тогда понял, как богат и пышен Кавказ. Душистые сухумские табаки, армянский мед, воск, шелк, вина, ковры, самшит (дерево, мало уступающее по твердости металлу), эвкалиптовое масло, красное дерево, фисташки и т. д. и т. д. Невольно я вспомнил сельскохозяйственную выставку в Батуме, ее душистые залы, заваленные экзотическими плодами, среди которых золотели лимоны величиной с арбуз, изрытые узором глубоких и затейливых борозд (цитроны).

Сегодня — воскресенье, и я ушел из нового Тифлиса в старый, на гору Давида, на могилу Грибоедова, заросшую черным плющом.

Внизу лежало море плоских крыш, вилась Кура, а за ней синим льдом уже горели вершины Главного хребта.

И, глядя на бронзовый барельеф Грибоедова, слушая в тишине и пустынности плеск воды в церковном фонтане, читая стертые строки о том, что Грибоедов «убит в Тегеране генваря 30 дня 1829 года», я вспомнил, какая это древняя земля, покрытая тысячелетней пылью.

А внизу пурпурным пятном трепетал по ветру флаг над Совнаркомом.

Тифлис, 1923

Вишни и степь

(Нижний Днепр)

От Запорожья до Херсона все пристани были завалены вишней и черешней, из широких корзин сочится по палубам липкий сок, и вишней пылает над плавнями короткий закат.

Херсонский порт задыхался от корзин, зашитых белой и розовой кисеей. Их грузят на пароходы с рассвета. Пароходы облеплены шаландами; с них медные люди хрипло и упорно вопят:

— Капитан, приймить вишню!

Третьи помощники замотаны до дурноты, каждый час подвозят по 300–400 новых корзин, и на берегу зло визжат чудовищно толстые торговки — владетельницы этого вишневого баснословного потопа. Они требуют немедленной погрузки.

— Черт с вами! — сипит сорванным голосом помощник. — Буду грузить вишню, грушу, абрикосу, черта, дьявола и самого Арончука. Давайте только людей! Черт с вами!

Вишня — палубный груз. Вишня занимает множество места, и среди стиснутых розовыми корзинами пассажиров вспыхивает «вишневый

бунт».

— Довольно! — кричат они, приходя внезапно в ажиотацию. — Довольно наваливать, мать вашу так! Дайте людям свободно дыхать! Вот подавим всю вашу вишню, тогда не будете жадничать!

«Желябова» перегрузили вишней, и, очевидно, поэтому он как взял из Херсона крен на левый борт, так и дополз с этим креном до Одессы.

На Нижнем Днепре поражает не только этот вишневый потоп, принявший характер какого-то народного бедствия. Поражает избыточность, богатство этих затопленных солнцем степей, прорезанных серебряными песками и зеленой медленной водой Днепра, веселье и дедовская ласковость народа, что хохочет и гомозится на пристанях, мешая погрузке.

Каждая остановка у пристаней, у веющих Запорожьем, ковылем и татарщиной Никополей, Бориславов, Каховок и Лепетих — полный заразительного смеха спектакль.

Острят, солоно и метко, грузчики, острят дядьки в соломенных «брилях», острят рыбаки в пропитанной смолою одежде, хохочут бабы и застенчиво жмутся стаями дивчата — розовые, красные и канареечно-желтые.

Вечером свет пароходных иллюминаторов

вырывает из теплой тьмы яркие лица, ослепительные зубы, груды вишен, загорелые ноги, бочонки, цепи. А над голубым от луны и от зноя Днепром полыхают зарницы — зарят хлеб, несут с востока неумолимый зной и безнадежно синее, низко упавшее небо.

Годы гражданской войны прошли, как суховей. Сейчас Нижний Днепр снова богат и тучен. Сивые волы, выпучив синие глаза, сосут тихую днепровскую влагу, и розовая степь струится, как жидкое стекло, степь розовая и золотая от скошенного жита.

Загорелый, крепкий, щедрый край, звенящий от песен веселых дивчат, красный от черешен, пахнущий печеным хлебом, рассеченный белыми косами и зелеными водами Днепра, — край с широким, неохватным будущим.

Александровск, 1925

Где нашли золотое руно

(Абхазия)

Я впервые увидел эту страну в феврале.

Песок по берегам горных рек сверкал от крупинок золота. Белый город Сухум был осыпан желтой пылью мимоз, земля на базарах лиловела от пролитого вина, неумолимое солнце подымалось из-за Клухорского перевала, где горели льды, чернели буковые леса и спали в скалах жирные серебряные руды. Запах апельсинов смешивался с запахом жареных каштанов, красные флаги шумели от южного ветра в тропических зарослях садов, дикие всадники, гортанно крича, бешено скакали по каменным дорогим. Стонами падал теплый ливень, и душистый дым местного табака лениво сочился из окон духанов.

А в это время в ста верстах к северу и к югу море было белое от метели и обезумевший норд-ост гремел над палубами ржавых пароходов.

Это было в Абхазии, в самой маленькой из Советских республик, в тропической Абхазии, богатой, щедрой и сон– ной.

Пароход идет вдоль берегов этой страны всего

пять-шесть часов. Автомобиль пересекает ее еще быстрее.

С севера, востока и юга стоят горы, они недоступны и непроходимы. Через Главный хребет есть только два перевала — Нахарский и Клухорский. Через Нахарский идут те, кому жизнь не нужна. Через Клухор переходят только в июле, когда стают снега, но переходят лишь те, кому жизнь нужна наполовину.

Переходят карачаевцы — жители Карачаево-Черкесской Республики, лежащей по ту сторону гор. Они идут и гонят перед собой стада — продавать абхазцам или менять на табак. Сваны нападают на них, и редкий переход не оканчивается жестокой перестрелкой на склонах Клу-хора. Почти всегда сваны угоняют половину скота, унося на бурках раненых, и слава этих набегов до сих пор гремит по всей стране от Пицунды до Самурзакани, где особенно сильно бродит дух рыцарства и своеволия.

Горы Абхазии, вглубь от побережья, непроходимы. Они покрыты густыми, девственными, перевитыми густой тканью лиан буковыми лесами, лесами из красного дерева, крушиной, самшитом, зарослями, в которых прячутся шакалы и черные кавказские медведи. Весной

медвежат на сухумском базаре продают по три рубля (без торга).

Ледяная цепь Главного хребта видна в ясные дни с сухумского рейда. Синие глетчеры тянутся на десятки верст, и старинные названия гор вызывают недоумение и любопытство — Марух, Схопач, Клухор, Нахар, Агыш, Апиянча, Адагуа. Многие названия звучат по-итальянски. Недаром в лесах Абхазии, в гуще зарослей, где сумрак зеленеет от листвы и пахнет столетней прелью, вы увидите белые, гигантские, заросшие дикой азалией римские маяки, развалины веселых некогда и пышных римских и греческих городов. Вы найдете только тогда, когда дотронетесь до них рукой, так сильно они заросли кустарниками и травами. Столетние буки растут из мраморных генуэзских цистерн, и шакалы спят на мшистых плитах, где четко и грозно темнеют латинские надписи.

Здесь лежал первый великий путь в Индию. Сюда, в эту пламенную Колхиду, приезжал Одиссей за золотым руном.

На юге к стране вплотную подходит море — индиговое и густое, рассеченное у берегов широкими струями бесчисленных горных рек. Эти реки ворочают, как пробки, пудовые камни и

в период таяния снегов рвут, как солому, мосты, ревут, как десятки курьерских поездов, и выносят в море трупы буйволов и вековые деревья.

Но кроме трупов буйволов, они выносят золотой песок и стаи голубой пятнистой форели.

Богатство Абхазии — в горах. Серебряно-сланцевые руды, каменный уголь, золото, мощные лесные массивы, медь, железо, бурные реки, энергия которых могла бы, преображенная в динамо-машины, залить ослепительным светом весь Кавказ, — все это ждет дорог и армий рабочих, девственное, нетронутое и неисследованное.

Море у берегов Абхазии глубоко и на глубине отравлено сернистыми газами. Лишь на отмелях кипит жизнь, но богатство этих отмелей поразительно.

Вблизи Гудаут есть устричные банки, и гудаутские устрицы считаются лучшими в Европе. Но этих устриц пока никто не ловит.

Пицундская бухта кишит дельфинами. Каждую весну в Пицунду приходят из Трапезунда и Синопа десятки синих и белых турецких фелюг. Турки бьют дельфинов из старых винтовок, — жир идет на мыловаренные заводы, а балык коптят над кострами. Дым этих костров застилает берега

сухумской бухты весь февраль и март.

Во время империалистической войны у берегов Сухума и Нового Афона погибло много транспортов с ценным грузом, на дне образовался целый город кораблей. И до сих пор еще море выбрасывает гнилые ящики, части машин, окаменевшие бочки с цементом и разбухшие, как губки, мессинские апельсины.

Абхазский крестьянин снимает в год два урожая. Земля родит сама, без удобрения, без поливки, без бороньбы. Надо только слегка поцарапать ее прадедовской сохой и бросить семя. Проделав все это, абхазский крестьянин скрывается в недра духанов, где дни и ночи щелкает в нарды, с азартом и горечью неудачного игрока.

Абхазия богата вином: качичем — черным и терпким, амлаху — светлым, как сок лимона, и удивительной маджаркой, которая бродит в желудке и создает опьянение на двадцать четыре часа.

Лиловые винные бочки скрипят на арбах и тянутся к Сухуму, туда же всадники везут у седел старые бурдюки. Винный запах пропитал деревни и города этой страны так густо и крепко, что его не может выжечь солнце и не могут смыть февральские ливни.

Но главное богатство Абхазии — табаки, в особенности «самсун» — крепкий, красный, пряный табак, известный и в Японии, и в Турции, и в старых странах Западной Европы. Весь вывоз этой страны покоится на табаках. Улицы Сухума вблизи порта пропитаны запахом спрессованных табачных листьев, которые грузят на иностранные пароходы из просторных и сухих табачных складов.

Сухумский табак так крепок и так душист, что курить его без примеси более легких и более простых табаков очень трудно. Его подмешивают к самым плохим табакам, и они преображаются, вкус их становится благороден, и горло курильщика не сжимает судорога удушья.

Табачные плантации сплошными коврами покрывают веселые склоны абхазских долин. Табак разводят главным образом греки, пришлое население, замкнутое и трудолюбивое, — не в пример экспансивным грекам из Керчи и Таганрога.

В горах Абхазии растет самшит — кавказская пальма. Он вовсе не похож на пальму. Это — низкий корявый кустарник с мелкими глянцевитыми листьями. Чтобы достигнуть высоты человеческого роста, самшит тратит не меньше ста лет.

Но у самшита есть одно необычайное свойство — это самая твердая порода древесины, он тверд почти как металл. Из самшита можно делать части машин.

О самшите не знали. Лишь недавно обратили внимание на это изумительное дерево, и теперь из него начали впервые изготовлять челноки для ткацких машин. Будущее самшита — громадно.

Горцы расскажут вам необычайные истории о том, как люди, срывавшиеся в пропасть, спасались, уцепившись за крошечный, в четверть аршина высотой, кустик самшита, ибо самшит не только тверд, но и с чрезвычайной силой держится корнями за расселины скал.

Абхазия могла бы сеять пшеницу. Но испокон веков, от прадедов абхазский крестьянин унаследовал кукурузу — самую неприхотливую и не боящуюся засух. Абхазская деревня питается ярко-желтым, как цвет канарейки, кукурузным хлебом. В горах приходится идти версты и версты в высоких кукурузных полях, где голова кружится от духоты, от запаха кукурузной пыли и по ночам прячутся и хохочут шакалы.

Маисовый хлеб, горный овечий сыр, спрессованный, как гигантские колеса, кислое вино и мацони — вот пища абхазского крестьянина.

Сухумский базар всегда завален фруктами. Зимой — мандаринами, каштанами, хурмой, апельсинами, кисловатыми и прекрасными гранатами, декоративными цитронами. Запах каленых орехов (фундуков) преследует вас на каждом шагу. Печи топят ореховой скорлупой, пищу в базарных духанах готовят на ореховом масле.

Осенью горы лилового и матово-зеленого винограда тонут в горах желтых персиков, раздражающе сочных и душистых, как душист вообще весь сухумский воздух. Шампанские яблоки из эстонских колоний под Сухумом шипят и пенятся, когда их надкусываешь, как донское шампанское. Алыча желтеет, как воск, и сливы так же сладки, сахаристы и сочны, как абрикосы и шелковица.

Зеленую алычу (особый сорт сливы) очищают от косточек, прессуют и продают в виде черной широкой кожи. Алыча — это абхазский уксус. Ее кладут, как приправу, во все восточные блюда.

Вокруг Ново-Афонского монастыря (теперь Псырцха) тянутся обширные оливковые сады с серой листвой — сады единственные в СССР.

В Абхазии субтропический климат, поэтому район Сухума — единственное место, где легко

можно разводить редкие лекарственные растения и травы. Сейчас (правда, в небольшом количестве) в Сухуме уже вырабатывают некоторые лекарственные препараты: лавровишневый экстракт, эвкалиптовое масло, камфору. В этой области у Абхазии большое будущее.

В Абхазии субтропический климат. Когда зимой подходишь к ее берегам на пароходе, с суши доносятся запахи, напоминающие тропики, запахи камфоры, мимоз, каких-то не наших цветов. Снег бывает как величайшая редкость и тает на лету. Мороз и снег здесь заменяет период дождей.

Где тропики — там лихорадка. Сухумская лихорадка не так жестока, как батумская, но все же она треплет приезжих. От нее и от зноя бегут в Цебельду, в горы, где прохладно и где каждую ночь шумят ливни.

Население Абхазии пестро и многоязычно. Помимо абхазцев — народа, не имеющего ничего общего ни в языке, ни по культуре с остальными народами Кавказа, — в Абхазии живут грузины, мингрелы, сваны, греки, армяне, эстонцы, русские, самурзаканцы, шапсуги и, наконец, чистые потомки крестоносцев, возвращавшихся в Европу из Трапезунда и осевших на берегах Колхиды.

Поэтому и сейчас на сухумском базаре, рядом

с водоносами и ишаками, вы можете увидеть горцев со светлыми волосами и очень тонкими, правильными профилями флорентийцев. Это — действительно флорентийцы, несколько веков тому назад покинувшие родину. Они живут замкнуто, обособленно, но их деревня, так же как и все соседние, окружена кукурузниками и табаком.

Абхазский язык труден. Выучить его невозможно, он имеет множество звуков, которых не в состоянии произнести горло европейца. Нужно с младенческих лет слышать его, чтобы осилить эту бездну свистящих, гортанных и клекочущих звуков.

У абхазцев не было своей письменности. Только недавно вместе с советизацией страны была создана письменность и появились первые брошюры и листовки на абхазском языке.

Быт страны сложен и своеобразен. Кровавая месть в гостеприимство — вот основа этого быта. Кровавая месть становится все реже и реже с тех пор, как Советская власть стала сурово и беспощадно карать горцев за этот дикий обычай, опустошающий аулы, превращающий в военные лагеря целые районы и делающий непроезжими самые оживленные дороги. Советы стариков

творят суды под священным деревом; путник, перешагнувший порог своего злейшего врага, может быть спокоен, как у себя дома, на заборах торчат лошадиные черепа от злого духа, свадьбы празднуют неделями, считается грехом пить молоко, не разбавленное водой. Таких обычаев много. У каждой страны есть свои странности.

Советский строй в Абхазии приобрел колорит этой страны. Заседания сельсоветов проходят под священным дубом, все члены сельсовета сидят верхом на поджарых лошадях, с коней говорят, с коней голосуют, подымая вверх руки со старинными нагайками.

История этой страны — история непрестанной, тяжелой, нечеловечески упорной борьбы за каждую пядь гор, за каждый камень с армиями русских генералов, с «урусами», которые несли тогда не национальную свободу и возрождение, а рабство и пренебрежение к этим гордым, молчаливым горцам, полным сурового достоинства и необычайной деликатности.

В заключение я приведу здесь отрывок из дневника писателя и знатока Абхазии — Нелидова, имя которого неизвестно, и рукописи не опубликованы из-за чрезмерной скромности автора:

»Утро пришло прозрачное и очень тонкое, ку-

пая в море красные рыбачьи паруса. На шхунах турки кипятили кофе в медных кастрюльках. Качались дубовые кили, и, как персидская майолика, на бронзовых горах бледным пурпуром цвели олеандры.

В солнечный дым садов я спустился из своей комнаты, словно вошел внутрь жемчуга.

Начиналась осень. Мучила лихорадка, карантинный врач сказал мне, что надо на неделю уйти из Сухума к Главному хребту, в область прохладных альпийских пастбищ.

Я нашел попутчика — циркового борца-профессионала, громадного и добродушного. Он знал все перевальные тропы, и идти с ним было легко и спокойно.

Шли мы три дня. В кукурузных полях за Мерхеулами мы обливались потом от невыносимой духоты, следя, как над Апианчей курились пепельные облака. Мы попали в безвыходный лабиринт диких гор и медленно подымались по незаметным тропкам, слушая, как в заросших орешником пропастях шумят монотонные реки.

Буковые леса стояли по склонам сумрачными колоннадами, пахло грибною прелью и медвежьими тропами, далеко срывались протяжные обвалы. Изредка над головой проносились со

свистом коршуны и прятались по норам бурые лисицы.

На третий день в прорезы черных гор сверкнул синим льдом изломанный и мертвый Главный хребет.

На четвертый день с перевала он открылся весь. Горец, увешанный пулеметными лентами, с винтовкой за плечами, встретившийся нам на перевале, показал на высоко взметенный в небо зазубренный массив, покрытый ледниками, и сказал:

— Марух.

Было в этом слове что-то древнее, простое и страшное.

Горы горели торжественным изломом льда в похолодевшем от глетчеров небе. В необъятной первобытной тишине был слышен шорох осыпавшегося щебня. В ущельях дымились облака. Мы спустились к озеру. Сначала шли по зарубкам в лесу, цепляясь за мшистые камни, потом сползали, держась за канат.

На озере было солнечно и жарко. Отвесные берега, белые от известковых слоев, отражались в молочно-зеленой воде. Борец развел громадный костер, чтобы не набежали медведи: «Не разведешь костра — набегут со всех гор и будут ходить

следом, выпрашивать по кусочку чурека».

На озере мы пробыли пять дней.

Все пять дней напролет около пещеры, где мы жили, весело гудел в небо костер из сухого красного дерева. По ночам мы вставали, подкладывали сучья и швыряли головешками в наглых шакалов. Быстрыми тенями они носились вокруг пещеры.

В первую же ночь они украли из-под головы борца кусок сыру. А последние четыре ночи они собирались громадными стаями на скалах и выли, нюхая горький дым костра.

Медведи бродили подальше, с опаской, выворачивали в лесу гнилые пни и устраивали по обрывам раскатистые обвалы.

Целыми днями мы ловили форелей, купались в ледяной воде, спали на белых скалах у берега, слепли от блеска озера и охотились за водяными курочками. Форель была жирная, старая и рвала лески.

В нерушимой, соборной торжественности гор, в ледяных ночах, падавших на озеро ослепительной звездной картой, была какая-то предмирная, едва улавливаемая сознанием тишина.

А вечерами лиловый, отлитый из меди, курясь багровыми туманами, загорался Марух, кровавы-

ми мазками ложась на наши лица. Потом он гас, и только свет костра метался по мускулистым, кофейным щекам борца, курившего горькую трубку.

Мы уходили с озера после обильного ветряного дождя. Мох и глина налипали на ноги, и было трудно идти. Среди обширных, дымящихся дождями долин и лесистых цепей синими колодцами плыло далекое небо.

Ночевали мы в гулкой пустой школе. В сумерках шел белый широкий ливень. Я до сих пор помню чувство горной, спокойной и сладкой тоски, когда я ночью просыпался и слушал торжественные раскаты грома в ущельях Агыша».

Такова Абхазия. Конечно, нельзя рассказать об этой стране в двухстах строках. Ее надо видеть, ибо ее богатство и красота вскрываются на месте, когда вы попадете в эти щедрые края, омытые теплым морем — одним из прекраснейших морей мира.

1928

Говорит ТАСС...

Вокзалы закрываются с двух часов ночи до пяти утра. Гигантский город на три часа попадает в блокаду. Серая и пыльная ночь дает непрочный сон. Машина времени прекращает свой бег, и даже свистки паровозов не оглашают подступы к Москве — все эти окраины, огороды и невообразимые пустыри, замкнутые в треугольники рельсовых путей и поросшие желтой крапивой. Заводы гасят огни и лежат на земле, как черные и усталые звери. Предрассветный ветер выветривает из цехов запахи кислот и окалины.

Но эта тишина мимолетна, как дремота в трамвае. В пять часов первые грузовики врезаются в ущелья улиц, дым из заводских труб погружает в туман окраины, поезда, окутанные паром и мокрые от росы, ревут на стрелках, яростно съедая последние километры перед Москвой, охрипшие газетчики бегут по асфальту. Бег времени возобновляется с новой силой.

ТАСС и РОСТА (по существу это одно и то же) напоминают вокзалы: в них работа затихает только на три-четыре часа. Три часа непрочного отдыха, три часа, за которые не успевает осесть пыль от

газет и не успевают отдохнуть телефоны, и снова бег времени приводит в движение сложнейшую машину этих телеграфных агентств.

Их можно сравнить с исполинской мембраной, улавливающей события во всем мире, или с сейсмографом, записывающим малейшие социальные толчки. Мембрана улавливает событие и тотчас же передает о нем сотни, тысячи и миллионы слов во все концы Союза — от Берингова пролива до Витебска и от земли Франца-Иосифа до Самарканда, испепеленного иранским солнцем.

Каждое слово, переданное ТАССом и РОСТой, через сутки превращается на страницах газет в миллионы слов. Сила одного слова громадна, но сила слова, повторенного миллионы раз во всех уголках Союза, баснословна.

Сознание ответственности за эти миллионы слов, стремительный темп работы, необходимость точно и безошибочно регулировать поток телеграмм, отобрать из десятка фактов один и переключить его на все города — все это создает ту нервную и неспокойную психическую организацию, которая называется «темпераментом журналиста».

Работа ТАСС и РОСТА осуществляется журна-

листами и, кроме того, механизмами. Сначала о людях.

Как они работают

Событие, факт — далеко не всегда такая яркая, видимая всем или, как говорят в Рязани, «влипающая в глаза» вещь, как это кажется. Есть события, развивающиеся в тиши, до времени незаметные и скрытые. Яркое событие надо не прозевать, а скрытое вовремя обнаружить и обо всем этом немедленно сообщить в Москву.

Такова работа корреспондентов ТАСС и РОСТА.

Их сотни. Они сидят или, вернее, бегают по всем крупнейшим городам Союза, по заводам, по селам, по вылощенным столицам Европы и Америки. Они участвуют в перелетах, в поисках метеоритов, в экспедициях на полярные острова, в маневрах и присутствуют при дипломатических переговорах. У них очень тяжелая и увлекательная профессия — все знать.

Необычайная сложность жизни СССР и пафос строительства — все это должно быть заключено в простые, понятные и лаконичные строчки телеграмм.

Корреспонденты составляют поистине необычайную людскую коллекцию — от иностранных

корреспондентов в круглых очках и с вечным пером, утомленных парламентскими прениями, до застенчивых провинциалов, не расстающихся с охотничьими сапогами, и обветренных моряков, дающих радио со своих кораблей.

Кроме корреспондентов, в Москве ТАСС и РОСТА обслуживают также репортеры. По вечерам они собираются в штаб — редакцию — со своими распухшими блокнотами и приносят с собой сырость Хамовников, где началось наводнение, или легкий запах пыли кулис Большого театра, где заседает съезд Советов.

Среди них много коллекционеров. Одни коллекционируют автографы, другие — книги, третьи — газетные курьезы, четвертые — плакаты. Очевидно, быстрый и спешный подход к фактам вызывает жажду пристального внимания в свободное время к этим же фактам, закрепленным в вещах на бумаге.

Телеграммы корреспондентов и заметки репортеров попадают к редакторам — людям, изнемогающим под водопадом слов.

Основное свойство редактора — быстрота, умение ориентироваться в материале и смелость.

Газетный материал не терпит трусов. Оперирование с ним требует свойств хирурга и военного.

Нужно быстро решать и беспощадно отсекать ненужное.

Труса материал задавит, завалит безнадежными ворохами телеграмм, запутает и доведет до отчаяния. Трус потеряет темп работы, мотор начнет давать перебои и, наконец, остановится совсем.

А газетное время беспощаднее обыкновенного: оно не знает и не хочет знать слов «не успел». Успеть нужно, будь у вас на столе материала на 500 строк или на 5000 строк.

Редактора ТАСС и РОСТА делятся на две категории, имеющие странное и довольно нелепое название: на редакторов «исходящих» и «входящих».

Если расшифровать эти пахнущие бюрократизмом слова, то получится, что «входящие» редактора — это те, которые принимают поток информации извне, перерабатывают его и сдают в редакции московских газет, а «исходящие» редактора из этого материала делают телеграммы и рассылают их по всему Союзу и за границу.

Но это не все. Газеты различны и по размерам, и по специфическим своим интересам, и по материальному своему богатству. Отсюда следствие — весь поток информации надо приспособлять к

требованиям и возможностям отдельных газет. И если вы обладаете некоторым воображением, то вы легко представите себе этот нелегкий и играющий на нервах, как на клавишах, труд.

Терминология редакторов для нового человека темна и непонятна.

Если Ленинграду говорят по прямому проводу: «примите висмут» или: «неужели вы думаете передавать всего Пушкина», — то это попросту значит, что Ленинград даст уйму ненужного материала.

Если говорят: «попал под поезд», то это значит, что на редактора обрушился громоздкий и сложный материал, из которого он не выплывет до трех-четырех часов ночи.

Естественно, что в свободные минуты, редкие как солнце осенью, в редакторских кабинетах вы можете услышать идиллические разговоры о том, как клюет скумбрия, или о перелете вальдшнепов. Не удивляйтесь. Это естественная реакция на беспрерывное напряжение.

Человек, оглохший от телефонных разговоров с Харьковом, человек с глазами, покрасневшими от сотен фиолетовых строчек, естественно, думает о солнце, о тишине, лесах и экспедициях в тайгу, где так безлюдно и так прозрачны реки.

Иностранной информацией ведает особый отдел — ИНОТАСС.

Весь мир

В комнатах ИНОТАСС вы по многим, почти неуловимым мелочам сразу чувствуете близость заграницы — об этом говорят иностранные газеты и журналы с их особым запахом типографской краски, латинские тексты телеграмм, американский способ работы, телефонные разговоры, пересыпанные множеством «yes» и «nein», неправильное произношение русских имен, — «Шестакофф» (застарелая привычка от частого разговора с иностранцами) и правильное произношение в русском разговоре иностранных имен («рэмингтон» — вместо ремингтон, «Кёпенгавн» — вместо Копенгаген).

ИНОТАСС получает информацию из двух источников — от иностранных агентов и от своих корреспондентов.

С пятнадцатью иностранными агентствами ТАСС заключил договор на взаимный обмен информацией. Среди этих агентств — Ассошиэйтед Пресс (Америка), Рейтер (Англия), Гавас (Франция), Вольф (Германия), Ренго (Япония), Анатолийское агентство (Турция) и агентства

всех восточных стран (где такие агентства существуют).

От этих агентств ТАСС получает ежедневно весь их материал на трех языках: английском, немецком и французском — по международным телеграфным кабелям.

ИНОТАСС имеет своих корреспондентов в США, в Мексике, в Англии, Франции, Германии, Италии, Австрии, Чехословакии, Польше, Швеции, Финляндии, Латвии, Эстонии, Литве, Греции, Турции, Персии, Японии и Китае.

Корреспонденты срочные сообщения посылают по кабелям, несрочные — воздушной почтой. Телеграмма из Лондона в Москву идет примерно один-два часа, воздушная почта — тридцать шесть часов.

Профессия иностранных корреспондентов ТАСС далеко не всегда безопасна. Разве легко, например, работать в Китае, где корреспондентам грозят высылкой и ведут против них ожесточенную травлю.

ИНОТАСС дает газетам не только телеграммы о всех значительных событиях на Западе. Кроме того, рассылает по почте много несрочной информации о новейших научных открытиях, о культурной жизни и об экономике иностранных

государств.

Эта информация берется из кип иностранных журналов и газет, заполняющих особую комнату ИНОТАСС почти до потолка. Труд тяжелый, но благодарный.

Из сотен журналов, на страницах которых мечутся, сияя зеркальными окнами, новенькие авто всех цветов радуги и улыбаются лучшие пловцы и прыгуньи Старого и Нового света, из этих сотен журналов ИНОТАСС отбирает все то, что пригодится для СССР, — новые типы радиаторов, способы бетонировки домов и статьи об ультрафиолетовых электрических лампочках, создающих в душных комнатах климат Каира.

Таким путем ИНОТАСС получает информацию из-за границы. В ответ он дает всем договорным агентствам информацию об СССР. В этом деле ИНОТАСС пользуется монополией.

Отобранные для заграницы телеграммы обрабатываются по американскому способу, переводятся на иностранные языки и передаются по кабелю.

Американский способ очень прост и рационален. В первой фразе — она носит название «леминг» — конденсируется вся сущность телеграммы.

В этой фразе не должно быть ни одного лишнего слова.

Во второй, третьей, четвертой и т. д. фразах идут подробности, расположенные в ниспадающем порядке, в строгой зависимости от степени их интереса. Редакция может стричь эти сообщения с конца. В крайнем случае, она может оставить одну первую фразу.

Сверх этого, ИНОТАСС посылает за границу по почте много сообщений о культурной и экономической жизни СССР. Надо сказать, что иностранные газеты печатают эту информацию иногда охотнее, чем наши, советские. Некоторые наши газеты, к сожалению, заражены непоятным и диким пренебрежением к культурной жизни СССР. Работники ТАСС и РОСТА прекрасно знают, сколько гибнет в редакционных корзинах интереснейшего и ценного материала из этой области.

Информацию ТАСС заграничные газеты печатают охотно. Лучше всего берут ее немецкие газеты, затем скандинавские и газеты восточных стран.

ТАСС — агентство, которое распространяет не только политическую информацию. ТАСС сумел в очень короткий срок занять среди телеграфных агентств всего мира одно из первых мест в смыс-

ле передачи серьезной информации, имеющей общий интерес.

Таковы телеграммы ТАСС об экспедиции Красина в полярные льды, телеграммы, державшие в сильнейшем напряжении весь мир, — таковы телеграммы о международных перелетах, о поднятии советского флага на земле Франца-Иосифа и множество других.

За информацию об экспедиции Красина ИНОТАСС получил благодарность от всех заграничных телеграфных агентств. Это говорит, что скорость передачи сообщений, осведомленность и умение подать материал достигли в ТАССе высокого уровня.

Машины и люди

Теперь о средствах связи и механизмах. Их много: телефон и телеграф, радиотелефон и радиотелеграф, спешная и воздушная почта, буквопечатающие аппараты — клейншмидты и телетайпы, световые сигналы из Москвы в Ленинград и Нижний и электрические звонки между этими городами, дающие знать о начале и конце передачи материала, фотоаппараты, клише, восковки и мотоциклы. Весь этот арсенал работает во взаимной связи, и порча одного из

них может расшатать всю машину.

Для того чтобы не запутаться среди этих механизмов, необходимо проследить сложный, но быстрый путь телеграммы от корреспондента до редакции газеты, где она идет в набор.

Путь этот таков: корреспондент дает телеграмму в ТАСС. Центральный телеграф в Москве получает ее и передает в ТАСС ПО прямому проводу при помощи особого аппарата — телетайпа.

Телетайп — очень скромная пишущая машинка в зеленом жестяном чехле. Вы можете даже сразу не заметить ее, пока не раздастся оглушительный звонок и она не начнет работать сама, торопливо выбивая на бесконечной ленте строчку за строчкой и механически переводя регистр.

Так, в течение дня телетайпы насыщают ТАСС и РОСТА телеграммами из всех почти городов Союза. Бывают телеграммы чудовищной длины, — такая, оторванная от «телетайпа» и развернутая телеграмма превышает рост самого высокого редактора, даже влезшего на стол. Но это бывает не так часто.

Телетайпы — очень вежливые машины. В конце работы они говорят «спокойной ночи» и замолкают. Но ночь их очень коротка. Спокойной ночи сотрудникам ТАСС они обычно желают

перед рассветом, когда ночь уже до краев налита синими соками московского утра.

С телетайпа телеграмма идет к редактору, он правит ее, ругая «лошадиный» язык корреспондента и роясь в справочниках. (Индустриализация СССР особенно ощущается редакторами ТАСС и РОСТА. Телеграммы изобилуют техническими терминами; от них исходит как бы дыхание гигантского завода, копей и промыслов. Каждый термин требует, конечно, объяснения.)

Набитый глаз редактора легко расшифровывает телеграфные искажения. Новичка некоторые искажения надолго ставят в тупик. Например, что значит: «В Новороссийск прибыло девять американских мужчин для совхоза Гигант», «тетка ВЦСПС», «фиктивная промышленность». Редактор уверенно вписывает вместо мужчин — машин, вместо тетка — сетка и вместо фиктивная — текстильная.

Выправленная телеграмма идет в машинное бюро, где высококвалифицированные, так называемые «парламентские» машинистки переписывают ее на восковки.

Восковки идут в электрические ротаторы, ротаторы дают сотни оттисков, а отдельные оттиски мотоциклы ТАСС тотчас же развозят по редак-

циям.

Это — первый процесс работы. Так дается информация для московских газет. Для провинциальных она дается иначе.

Листы с готовой информацией передаются с ротаторов «исходящим» редакторам. Они вновь делают из них телеграммы. Из каждого отдельного сообщения делается несколько телеграмм: одна для больших провинциальных газет, другая — поменьше для окружных газет, еще меньше — для районных газет и т. д.

Весь этот материал идет на телеграф, радиостанцию и в радиорубку ТАСС, откуда дикторы читают его редакциям множества провинциальных газет.

Если вы слушаете радио, вы знаете эту передачу — медлительную, с упоминанием всех точек и запятых и с передачей собственных имен по буквам.

Получается так: вместо Чан Кай-ши диктор противным голосом (я уверяю, что в жизни у дикторов очень приятные голоса вполне мужественного тембра) читает не торопясь: Червонец Анна Николай тире Катя Анна И краткое тире Шанхай Иван точка.

Чтобы дослушать эту тягучую передачу, нужно

железное терпение.

Как-то в глухой деревне на Оке я видел, как крестьяне слушали ее с необычайной жадностью. Им нельзя было отказать в недостатке терпения, но слушали они не терпеливо, а с жадностью. И это понятно.

Сидя у Оки, где ветер трясет худые ракиты и сыплется безнадежный дождь, можно было слушать весь мир с его стачками, восстаниями, перелетами через океаны, конференциями и открытиями новых заводов.

Но есть и привилегированные города — Ленинград, Нижний, Харьков, Смоленск и Ярославль. Им информация передается по клейншмидту.

Клейншмидт — буквопечатающий аппарат. Схема работы как будто несложна. Машинистка (их зовут пуншеристками) пишет на пишущей машинке, предупреждающей вспышкой красной лампочки о том, что кончается строка. Но вместо строк на бумаге, из машинки выползает пергаментная лента с пробитыми на ней точками — машинка (она называется пуншер) сама переводит наш алфавит на знаки Морзе.

Пробитая этими знаками пергаментная лента идет в особый передатчик — трансмитор. Он втягивает ленту в себя и передает ее содержание по

прямому проводу в Ленинград или другой город. В Ленинграде провод присоединен к пишущей машинке вроде телетайпа. Она автоматически принимает информацию, переводит ее со знаков Морзе на русский алфавит и печатает на бесконечной ленте. Ленту время от времени отрывают и передают редактору. Вот и все.

Быстрота передачи поразительна. Середину телеграммы еще пишет пуншеристка, а начало уже автоматически печатается в Ленинграде.

Иногда вместо букв клейншмидт начинает бешено выстукивать сотни цифр или нечленораздельно мычать: ба, бы, ба, бы, ба, бы... но это бывает редко, — только во время изморози.

Клейншмидтом управляют механики.

Долгое общение с этими прекрасными аппаратами не убило у некоторых из них суеверий.

Правда, суеверия эти носят отчасти научно-популярный характер.

Один из механиков поверил в дурной глаз или в дурные излучения довольно скромного и спокойного редактора. Механик точно установил, что как только этот редактор подходит к клейншмидтам, они моментально портятся и начинают нечленораздельно мычать.

Механик объяснил это вредными излучения-

ми, исходящими от редактора.

Он долго рассказывал пуншеристкам об отрицательном и положительном полюсах, но пуншеристки так и не поняли, — по их мнению, редактор был положительным полюсом, но на клейншмидт он почему-то действовал отрицательно.

Механик, доведенный до отчаяния, явился к начальству и слезно просил не допускать злополучного редактора к клейншмидтам даже по служебным делам.

На клейншмидтах работает отдельный редактор — самый скорый и зубастый. Объясняется это тем, что клейн-шмидт имеет дело с очень капризными и избалованными городами — им все не нравится. Поэтому нигде так часто не употребляется выражение: «не морочьте голову», как на клейншмидтах. Каждый день редактор выдерживает бой, полный язвительности и скрытой желчи, то с Ленинградом, то с Нижним, то с Ярославлем.

Есть еще множество людей, обслуживающих этот водопад информации — машинистки, корректоры (народ недоверчивый и зараженный критицизмом), шоферы, ротаторщики, и, наконец, дирижер: человек, дирижирующий столь

пестрым оркестром людей и механизмов.

Лицо ТАСС и РОСТА

Нельзя на нескольких страницах охватить работу ТАСС и РОСТА и дать полное представление о ее сложности и важности. Я поневоле ограничиваюсь короткими очерками.

Но я хотел бы сказать еще несколько слов о быте ТАСС. Из чего слагается этот быт. Из бесконечных ночей, из конгломерата людей, связанных общей работой, из напряжения и редких минут отдыха.

Естественно, что столь напряженную работу можно хорошо выполнить только с легким сердцем, с легкой ду-ой.

Поэтому мрачность в работе, тяжеловесность, десяти-пудовая солидность редкие гости в ТАССе и РОСТе.

Человек, выпускающий тридцатый лист срочного материала, несмотря на то, что у него кружится от усталости голова, может рассказать вам в перерыве между двумя листами необыкновенную историю, над которой вы будете долго хохотать.

Разговоры в редакциях идут по необычайно извилистым руслам: говорят о Горьком и Марселе Прусте, о тракторах и комбайнах, о совхозах и

«Заговоре чувств», о штормах и уральской нефти, о сырье, об АХРе и о том, какие уключины лучше — обыкновенные или выносные.

Следовало бы проделать такой опыт: в течение месяца застенографировать все эти разговоры, рассказы, споры и реплики и сделать из них книгу. Я думаю, что это была бы одна из интереснейших книг на будущем книжном базаре.

Дать некоторое представление о лице ТАСС и РОСТА можно такой формулировкой:

Современность + быстрый темп работы + новейшая техника + обилие незаурядных людей + хорошо развитое чувство товарищества + политическая выдержка + умение легко работать = ТАСС и РОСТА.

1929

Колхозная академия

Очерк говорит об одной из громадных фабрик Союза по «изготовлению кадров» — Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Социалистическое преобразование сельского хозяйства и бурный рост колхозов требуют новых кадров сельскохозяйственных специалистов. Новые агрономы должны забыть об единоличном крестьянском хозяйстве и стать знатоками хозяйств крупного и обобществленного. Тимирязевская академия включена в конвейер социалистического строительства и не отстает от требований сегодняшнего дня. Она преобразована в Академию социалистического земледелия и сверху донизу перестроена для подготовки новых сельскохозяйственных кадров.

В 1914 году я был кондуктором московского трамвая. Две недели нас гоняли по линии «Б» и по другим окраинным линиям, а потом, в виде законного отдыха, переводили на два-три дня на «паровичок». «Паровичок» ходил в Петровско-Разумовское, до академии. Трамвая еще не было. Паровоз, похожий на вокзальный самовар, фаль-

шиво посвистывая, тащил четыре прицепных растерзанных вагона.

Была поздняя осень. Учебный год уже начался, но в Петровском стояла глухая тишина, свойственная крепостным городам и дворцовым поместьям. Почти всегда мы ходили порожняком. Лишь изредка возили упитанных и румяных студентов и древних профессоров. Профессора внушали страх своей насупленностью.

С тех пор у меня о Петровском осталось впечатление, слагавшееся из трех элементов: тишины, безлюдья и идиллической калины, красневшей в профессорских садах.

Второй раз я попал в Петровское в 1930 году — через шестнадцать лет. Зима и глубокий снег, казалось, совсем похоронят Петровское в безмолвии и пустынности. Но оказалось — не так. Я попал в студенческий город, в споры, в лихорадку работы. Я воочию увидел то, что называется «темпом».

О зеркальных паркетах, отражавших профессорские седины, почтительных студентах, мечтавших попасть в удельное ведомство, и безбурном житье академии, питаемой неторопливой наукой, никто не помнит. Все сдвинулось. Академическая жизнь пошла ледоходом.

Каждый день полон нового, — сегодня создается студенческая коммуна, завтра обучают рабочих-колхозников управляться с сельскохозяйственными машинами, послезавтра обсуждают совместно с коллегией Наркомзема проект реорганизации академии.

Немного о внешности

Внешность во многом определяет работу. Какова внешность Тимирязевки?

Нет строящихся зданий, лесов, штабелей досок, бочек цемента, — вообще нет внешних признаков строительства. Но воздух стройки пропитывает все вокруг.

Старый дворец как бы расплавлен энергией, гудящей внутри его стен. Особенно очевидна его дряхлость, его неприспособленность к нынешнему веку. Екатерининская бомбоньерка цвета телесной пудры — и первый в мире колхозный факультет!

Новое вино бродит в старых мехах и льется через край: академия растет, захватывая новые участки. Вокруг дворца раскинулся академический город, — новые факультеты, лаборатории, научные станции, клубы, студенческие коммуны.

Штаб коллективизации

Обстановка в академии напоминает строительство и, одновременно, — боевой штаб. Штаб коллективизации и весеннего сева.

Никогда еще производственная жизнь страны не была так тесно связана с высшей школой, как теперь. В старое время Поволжье могло вымирать от голода, но студентам академии не было до этого никакого дела. Они сдавали зачеты и аптекарствовали в лабораториях, будучи глубоко убеждены, что чистая наука выше прикладной. Чистота ее состояла, очевидно, в том, что она не была призвана служить потребностям сегодняшнего дня. Тогда чему она должна служить? Себе самой? Вечности? Здесь начинается ученый идиотизм.

Сейчас иное. Академия поставлена дыбом. Половины студентов в Москве нет. Они брошены в колхозы и на посев. Академия опустела. Она отправила в деревню 2000 студентов.

Романтика селекции

За дворцом — городок из легких домов. Он засыпан снегом и окружен седыми зимними далями.

Это — опытные станции академии.

На селекционной станции тишина. Зерна прорастают неслышно.

Только слабо гудят газовые горелки и несколько девушек безмолвно работают за микроскопами. Пахнет лекарственными травами и чистотой.

Трудно свыкнуться с мыслью, что в этом безмолвии идет работа, столь же захватывающая воображение, как эпопея «Красина», и столь же насущная для нас, как вода, воздух, как хлеб.

Здесь скрыта романтика, о которой мечтают писатели, утомленные «буднями» революционных лет. Здесь пишется увлекательная книга о зерне и урожае.

Наука об улучшении человеческого рода-евгеника, — пожалуй, не так сложна, как наука об улучшении зерна — селекция. С зерном возятся больше, чем с грудным младенцем.

Ученые гораздо строже и бережнее относятся к слову, чем писатели. Рассказывая мне о своих работах, они ревниво следили за тем, чтобы их мысль была выражена точно, хотя бы и несколько сухо.

Поэтому мне было сказано точно: цель работы селекционной станции — не только улучшить существующие сорта семян хлеба и технических

культур, но и вывести новые сорта семян.

Пятилетка требует общего повышения урожая на 35 %, — на 25 % урожай будет повышен путем селекции!

Вывести хорошие семена трудно, но не менее трудно их размножить.

Селекционная станция обслуживает колхозы и совхозы и готовит кадры селекционеров.

Вот главные пути, по которым идет ее сложная и кропотливая работа.

Как выводятся новые высокосортные семена? Двумя путями — путем индивидуального отбора и гибридизации. Расшифровка этих неясных терминов дает две стройные и интереснейшие системы.

30 000 сортов

30 тысяч сортов только пшеницы — такова расточительность земли! Многообразие форм растений не поддается описанию. Нужно исследовать и перебрать все эти 30 000 сортов одной только пшеницы и оставить самые ценные. С этого начинается индивидуальный метод селекции.

Из десятков тысяч семян одного и того же растения сотрудники станции отбирают все, что годно для разных областей Союза (обладающего,

как известно даже из самых плохих учебников географии, исключительной пестротой климата и почвы).

Отобранные семена высеиваются руками в питомнике. Сажают 100 000 зерен. Когда растение созреет, снова начинается отбор. Выбирают лучшие — самые урожайные и зрелые. Каждый колос обмолачивают отдельно. Этим оканчивается первый год выращивания семян.

На второй год эти семена после жестокой браковки снова высеиваются в питомник. Вместо 100 000 зерен высеивают только 200–500.

Селекция — единственная отрасль в хозяйстве СССР, где столь чудовищный брак идет на пользу производству.

На третий год высаживают 20–50 зерен, а на четвертый 5-10 семейств — самых отборных.

Четырехлетнее зерно сравнивают по его урожайности с лучшими сортами имеющихся семян. Предположим, цель достигнута и зерно дает прекрасный урожай. Но ученым этого мало. Они не унимаются. Еще три года они испытывают новорожденное зерно, чтобы выяснить, как на него влияют разные климатические условия: засуха, избыток влаги, заморозки, лихорадочные скачки температуры.

Семь лет прошло, и зерно готово. Получен новый сорт — урожайный и выносливый. Он называется на языке селекционеров «элитным». Наступает новая эра — из питомников зерно выходит для испытаний на поля.

Его испытывают в разных частях Союза, чтобы найти самые подходящие для него районы распространения. Районы найдены. Тогда начинается размножение нового сорта, но далеко не сразу. Сначала два-три года им засеивают поля семеноводческих организаций.

Станция зорко следит за этим посевом и контролирует каждый его шаг. Потом семена идут на поля лучших колхозов и совхозов, и новый сорт можно считать окончательно созданным.

Здесь как будто должна быть поставлена точка. Но нет. Достаточно засорить новые семена, смешать их с доморощенными семенами, и вся работа идет насмарку. Поэтому контроль за посевами продолжается

Фабрика урожая

Под Загорском — бывшим Сергиевом — лежат богатые лаврские поля. Теперь они переданы академии, и на них производится выращивание новых сортов пшеницы, полученных путем ин-

дивидуального отбора и гибридизации.

Но не всегда путем отбора можно «создать» зерно, обладающее всеми необходимыми качествами. Один сорт урожаен, но легко вымерзает, другой не вымерзает, но мало урожаен. Тогда берут эти сорта и скрещивают. Этот способ и называется гибридизацией.

Получается первое потомство со звучным названием — гибриды. Из него отбирают лучшие экземпляры, испытывают несколько лет, и если хорошие качества нового зерна оказываются устойчивыми — оно идет в посев.

Селекционная станция пропустила в январе 6000 рабочих, едущих в колхозы. Их научили отличать плохие семена от хороших, чистые от засоренных, — и это уже много. 500 студентов, знакомых с селекцией, отправлены в колхозы.

Такова нагрузка этой фабрики урожая.

Разрушительные машины

С селекционной станции я попал в анатомический музей машин, — на машиноиспытательную станцию.

Машины, разъятые на части, показывали свои нервы, кости, мускулатуру. Недавно здесь тоже шло обучение 6000 рабочих-колхозников.

Станция испытывает машины всех систем и отбирает лучшие, оценивает бесчисленные проекты изобретателей и сама конструирует новые машины.

Больше всего она возится с тракторами. Фордзон, Интернационал, Клетрак, — три слова, склоняющиеся на станции миллионы раз. Здесь тракторы всех возрастов, всех систем и всех мощностей, — от 16 до 60 лошадиных сил. Здесь гусеничные тракторы, которые могут тащить две сноповязалки (для нас, людей не земледельческих, это ничего не говорит, крестьянин же снимет перед этой цифрой шапку, — для него это — Днепрострой!).

Станцию засыпают запросами со всех концов Союза. Она не только обучает студентов, — она — главный оценщик машин.

Машины испытываются на полях академии и в разных районах Союза, где пробуют, как та или иная машина берет разную почву. Для глины нужны машины одной конструкции, для чернозема — другой.

Около станции стоят комбайны — советский и американский, плуги с восемнадцатью лемехами, дисковые бороны, сортировки, — целый музей земледельческих машин.

Станция пропускает сто экскурсий в месяц. Сейчас она обучает колхозников, а осенью начнется слет красных директоров совхозов и заводов сельскохозяйственных машин: четыре месяца они будут изучать машины.

На этой станции я впервые узнал, что сельскохозяйственные машины таят в себе разрушительное начало. Если на селекционной станции брак служит на пользу производству, то здесь этому служит идея разрушения.

Плуг и борона разрушают почву, и чем лучше они это делают, тем считаются ценнее; косилка режет стебель, молотилка уничтожает колос, мельничные машины перетирают зерно в порошок.

Это разрушительное начало, заложенное в конструкцию сельскохозяйственных машин, резко отличает их от машин созидательных. Оно определяет принципы их построения. Инженеры сельскохозяйственных машин — инженеры-разрушители.

Станция не отстает ни на шаг от времени. Ожидание сырого лета вызвало на станции ряд интереснейших работ по сушке зерна.

Влажное зерно быстро портится. Станция работает над созданием особой машины для про-

сушки зерна.

Коровий бунт

Рядом — селекционный рассадник птицы, свинарник и молочная ферма, — лаборатория животноводства.

На ферме идут опыты с кормлением скота. Закончилось кормление коров соей, — кормили их почти три месяца. Сейчас идет подсчет результатов. Путем рационального кормления (без племенного его улучшения) удой русского скота на ферме в 1929 году увеличился, сравнительно с 1926 годом, на 12 %. Корова дает 20 кило молока в сутки. Скот становится тяжелее.

Ферма непрерывно работает над улучшением породы скота.

Через ферму проходит множество крестьянок-доильниц. Их обучают уходу за скотом.

Этим летом на ферме введено электрическое доение. Этот способ дает большой удой и экономию, но требует особой опытности.

Некоторые коровы в силу прославленного своего консерватизма враждебны к электричеству. Они не допускают к себе рабочих с электрической доилкой. Коровье безразличье сменяется неистовством, — корова впадает в бунт. Но боль-

шинство коров относится к электрическому доению равнодушно.

Доение продолжается от пяти до восемнадцати минут. Одновременно доят пятерых коров. Передержка аппарата не вызывает ни раздражения, ни крови. Единственный недостаток тот, что аппарат не выдаивает все до конца, — после него надо корову поддаивать.

Электрическая дойка дает очень чистое молоко, какого никогда не получить при доении руками.

Я рассказал только о трех главных опытных станциях академии. Есть еще льняная станция, метеорологическая и другие, но о них я говорить не буду.

Портфель и валенки

После опытных станций я попал в главное здание (или, вернее, в здания) Академии. Я запутался среди факультетов, лабораторий, библиотек и деканатов. Стены пестрели стенными газетами. Поражала единственная целеустремленность этих газет — колхозы и посевы. Как будто для тимирязевцев больше ничто не существует.

Я попал в Академию в бурные дни реорганизации. Академическую жизнь переливают в новые формы. Впредь она будет обслуживать только

колхозы, только социалистическое земледелие. Над индивидуальным хозяйством поставлен крест.

Наркомзем постановил:

«Реорганизовать Академию, с тем чтобы она подготовляла инженера-агронома, специалиста-производственника исключительно для крупного социалистического хозяйства».

В старое время Академия была барской. Барич-помещик, купец, сын мироеда — таков был состав ее студентов. Сейчас в Академии больше половины крестьян-бедняков и колхозников, пятая часть — рабочие, а остальные — дети служащих и небольшая горсточка детей специалистов.

Часть старых студентов и старых профессоров упрямо сопротивлялись неизбежному. Они — монополисты земледельческой науки — не хотели отдавать ее в руки «мужичья». Только сейчас сломлено последнее сопротивление.

Студенты Тимирязевки отличаются от студентов других вузов. Это юноши и девушки в валенках и с портфелями. Портфель говорит об учености, а валенки о деревне, колхозе, непрерывной практике. Так во внешних деталях отражается принцип советского вуза — органическое слияние учения с производством.

Цифры

Читатели обычно боятся цифр. Но в наше время, когда каждый факт закреплен цифрой, когда сложнейшие социальные процессы возникают перед нами в колоннах сухих цифр, когда цифры становятся итогом борьбы, когда цифры — это наши нервы, мускулы, наша кровь, — пренебрежение к цифрам становится диким предрассудком.

Приведу только две цифры.

Первая. К концу пятилетки в Академии будет 12 000 студентов.

Вторая. На постройку новых факультетов, газового завода, гаража для тракторов, на рост тимирязевского города за пятилетку будет затрачено 10 000 000 рублей.

Перестройка

Старые факультеты умерли, вместо них возникает восемь новых: факультет зерновых культур, прядильных культур, садово-огородного хозяйства, рыбного хозяйства, защиты растений от вредителей, агрохимии и почвоведения, инженерно-мелиоративный и механизации и

электрификации сельского хозяйства.

Если вы внимательно следите за хозяйственной жизнью страны, то вы сразу же увидите, что все важнейшие области социалистического сельского хозяйства четко и точно входят в рамки новых факультетов.

Конец вечного студента

Страна требует кадров, кадров и кадров. Без новых кадров невозможно создать социалистическое хозяйство.

Срок обучения на разных факультетах срезан до трех и четырех лет. Идет жестокая борьба с «засиживаньем» студентов. С «вечным студентом» — добрым малым, спорщиком и анекдотистом — расправились жестоко и по заслугам.

Старая система преподавания — студенты зовут ее «пестропольем» — заменена новой: четкой и целесообразной. Введена непрерывная производственная практика.

Старый способ практики был нелеп. Два-три студента ехали на завод или в колхоз и зачастую болтались там без дела.

Впредь к Академии будут прикреплены отдельные колхозы, совхозы, машинно-тракторные станции и заводы. Студенты будут выезжать туда

«пачками» и проходить практику под руководством профессора.

Засухи больше не будет

В Академии есть популярный профессор Вильямс. Он создал знаменитую травопольную систему. Она должна вызвать переворот в сельском хозяйстве. Впервые в громадном масштабе она будет применена в Хоперском округе сплошной коллективизации.

Эта система путем посева определенных трав и растений приведет к задержке влаги в почве и к равномерному ее распределению. Угроза засух станет ничтожной.

Профессор Вильямс первый из профессоров Академии выработал стройную систему земледелия, основанную на том принципе, что единоличное крестьянское хозяйство — не что иное, как агрономическая нелепость.

Бытовые колхозы

Как влияет быт на учение? Коллективизация быта резко сказывается на успехах студентов.

Тимирязевцы создали четыре бытовых коммуны. Слава этих коммун разнеслась по всему

Союзу. Знакомиться с ними приезжают делегаты отдаленных вузов, заводов, фабрик и шахт.

В бытовых коммунах обобществлено все — все вещи, весь летний и зимний заработок, все книги. В каждой коммуне свой «наркомфин». Он не стесняет коммунаров и выдает, в случае надобности, деньги на личные нужды — на помощь родным, на табак.

В каждой коммуне есть комната, где поддерживается глубокая мертвая тишина. Это комната для занятий.

В коммунах твердый закон — «по каждому вопросу стремятся добиться единой точки зрения».

Коммунары живут дружно. Бывают, конечно, легкие обиды и недоразумения, но они быстро улаживаются.

Замечено, что коммунары учатся лучше студентов, живущих по старинке.

Так будущие специалисты по колхозам уничтожают в себе инстинкт собственничества, создают свои «бытовые колхозы», разрушают «нелепость индивидуального городского хозяйства».

Оглушающее впечатление

Я уезжал из Академии оглушенный, — так действует на новичка гигантский металлургический

завод. Мозг перегружен деталями, зрелищем напряженной работы, цифрами, сложностью этой машины по изготовлению кадров. Вместе с тем он уже увеличивает контуры стройной системы, которой подчинена эта машина.

Хозяйственная жизнь страны монолитна. Это чувствуется одинаково остро и в Академии и на заводе.

Академия включена в конвейер социалистического строительства и «набирает скорость», — иначе она будет отброшена в сторону и не даст наибольшего эффекта в своей работе.

А не дать в наше время наибольшего эффекта — это значит не дать ничего.

Зависть

На остановке Соломенная Сторожка вагон трамвая стоял очень долго. Тимирязевцы грузили на заднюю площадку корзины, баулы и книги.

Они ехали в колхоз. Кондукторша терпеливо ждала. Безропотно ждал вожатый. Ждали пассажиры.

Студенты были возбуждены, хохотали. Так в старое время ехали не на трудную работу, а на каникулы в Крым.

Студенты пели и пританцовывали на площад-

ке. На щеках у них был румянец, — не московский, а деревенский жаркий румянец.

И я испытал скверное чувство; зависть.

1930

Онежский завод

В тридцатых годах Алексей Максимович Горький предпринял издание «Истории фабрик и заводов» и привлек к этому делу многих писателей. Работа над этой историей шла бригадным методом, но я не очень доверял этому методу (в применении его к литературе) и потому решил написать «единолично» предложенную мне историю Онежского завода в Петрозаводске.

Я собрал довольно большой материал об истории этого старинного завода, но когда напал писать, то ничего у меня не получилось, — живые люди вытеснили историю, отодвинули ее на второй план.

В итоге моей поездки в Карелию и Петрозаводск я написал две вещи — маленькую повесть «Судьба Шарля Лонсевиля» и несколько очерков под общим названием «Онежский завод».

Борьба за будущее

Старый худой инженер — директор завода — готовился к докладу. Закусив мундштук, он чертил на листе бумаги ломаные линии. Инже-

нер привык чертить, и любая мысль делалась для него ясной лишь после того, как он изображал ее на бумаге в виде какого-нибудь непонятного рисунка.

Окончив чертить, инженер задумался. Над Онежским озером и Петрозаводском третий день безумствовал ветер. Он дул в щели, шевелил пожелтевшие инструкции на столе, сдувал на пол толстый пепел от стариковских крученых папирос. Уборщица гремела ведрами в пыльном коридоре и ругалась на погоду.

Но инженер не замечал ни серого света почерневшей угольной лампочки, ни ворчания уборщицы. Он думал, что делать с заводом.

Окончилась мировая война, пришла революция, и завод, приспособленный для военных заказов, очутился не у дел. Мастерские и заводские дворы опустели. У плотин бесполезно шумела лесная вода. Токарный цех сгорел. С каждым днем число рабочих убывало. Иные ушли в продотряды, другие — на юг, драться с Врангелем. У станков делали зажигалки, чинили примусы.

Инженер вспомнил, как о расцвете, о том времени, когда завод в дни борьбы с интервентами-англичанами вооружал бронепоезда и ремонтировал пароходы Онежской флотилии,

носившие громкое имя «канонерских лодок».

То было время частых тревожных гудков, непонятных перестрелок, кромешных ночей, пахнувших ржавчиной и кровью, визга старых револьверных станков, бессонницы и оперативных приказов. Сутки напролет люди проводили на заводе, как в крепости, куда каждого невольно тянуло из темных квартир.

Вчера наконец были произнесены слова «закрытие завода». Беспрерывное ожидание этих слов приводило инженера в состояние страшнейшей усталости. Но как только они были сказаны, инженер начал сопротивление. Угроза укрепила волю. Необходимо было найти заказы и переключить обветшалый завод на новое производство.

Инженер вспомнил деревянные подъемные краны, установленные еще в XVIII веке, и усмехнулся.

— Что же делать? — сказал он вслух, хотя чертеж на столе говорил, что о спасении завода думать бесцельно.

Оставалось одно — превратить завод в жалкую ремонтную мастерскую Мурманской дороги. Половина станков обречена на бездействие, но другого исхода нет.

Основные положения доклада были готовы. До-

клад инженера был принят. Пять лет после этого Онежский завод возился с ремонтом паровозов. Все эти пять лет и рабочие и инженеры чувствовали себя как моряки, вынужденные работать на речном перевозе.

Но в 1924 году дорога отказалась от ремонта. Снова были сказаны слова о закрытии. Снова начались судорожные поиски заказов. Завод хватался за все. За два года он шестьсот раз приспособлял станки к разношерстным заказам, за которые платили сто — двести рублей, переучивал рабочих, увольнял их и набирал снова, тратил силы на освоение мимолетных производств и едва сводил концы с концами.

То была отчаянная борьба за существование, игра на нервах, оттяжка времени, вызванная надеждой на скорое облегчение.

По пестроте изделий завод приближался к екатерининским временам своей истории. Рабочие ругались и говорили, что, очевидно, пришло время заняться лужением самоваров и починкой поломанных велосипедов.

Жизнь страны перестраивалась. Зрелище было подобно стремительному геологическому процессу. Пласты оседали, смещались, нарастали, но завод стоял на отлете от этого.

Он не нашел своего места и подбирал жалкие крохи. Военное прошлое уходило и забывалось. Мирное строительство обидно шло мимо. Завод походил на полководца, уволенного в отставку за роспуском армии и вынужденного торговать газетами или делать сапожную мазь.

Старый инженер сидел в пыльном кабинете, подписывал грошовые заказы и молчал. Изредка он говорил, что не должно быть места отчаянию, что выход будет, и набрасывал на столе непонятные чертежи. Все делали вид, что верят ему, — боялись его огорчить, — но каждый думал о том, куда бы поскорее удрать.

Завод застилал город жидким дымом из осевших труб.

Потом пришли первые известия об индустриализации страны, о планах ее перестройки. В этих планах на долю завода не было отпущено ни одной крупицы.

На заводе созвали открытое партийное собрание. Старый инженер пришел и сказал следующее:

«Я много думал над прошлым и будущим нашего завода. Что было в прошлом? Завод никогда не был органически слит с этим краем. Его ненавидели. Его проклинали. Разновременно завод

был то застенком, то арестантскими ротами, то богоугодным заведением. В мирное время он засыпал. Оживал и работал он только во время войн. Прошлое завода мрачно, будущее как будто нам неясно. Но это кажущаяся туманность.

Необходимо прочно уяснить одну мысль, — завод может расцвесть и получить полную нагрузку лишь при условии, что он неразрывно сольется с жизнью Карелии и станет ей насущно необходимым. Карелия — страна бездорожья, озер и камней. Эти три слагаемых определяют будущность завода.

Бездорожье диктует нам необходимость производить дорожные машины. Озера и рыболовство требуют хороших лодочных моторов. Разработка камня вынуждает нас заняться изготовлением бурового инструмента.

Необходимо добиться реконструкции завода, расширить и омолодить эту дряхлую кузницу, создать здесь социалистическое предприятие, блещущее совершенством техники. Только после этого завод будет прочно впаян в экономическую ткань и Карелии и всего Советского Союза. Другого выхода, простите меня, я не вижу».

Это было правильно. Завод был спасен.

Чествование

С утра старый инженер волновался. От сильного волнения у него всегда ослабевал слух. Он видел за стеклянной перегородкой своего помощника Верхинена, шевелившего губами перед телефонной трубкой. Верхинен с кем-то говорил, но старик ничего не слышал.

Завод безмолвствовал. Все только шевелили губами и улыбались. Улыбки казались натянутыми. Даже улыбка секретаря комсомола Лены Мижуевой — всегда открытая и простая — была полна иронии.

«Я окружен недругами, — подумал инженер, но спохватился и покраснел. — Что за чушь приходит в голову!»

Разрывая пером бумагу, он подписал ведомость и спросил главного бухгалтера:

— Ну что, не раздумали меня чествовать?

Бухгалтер ответил поспешным пискливым голоском, как будто говорил по телефону из Владивостока:

— Что вы, что вы! Наоборот, все устроено!

Инженер пожал плечами и поднял брови. Он как бы говорил: «Воля ваша. Хотите делать глупости — делайте, но я умываю руки».

Волнение началось еще третьего дня, когда инженер узнал, что его хотят чествовать. Молчаливый и замкнутый, он ждал чествования, как пытки. Будут говорить речи, а он обязан сидеть истуканом, глупо улыбаться и краснеть, как мальчишка. Потом он должен по непонятной традиции отрекаться от своей работы и своих заслуг: «Что вы, что вы! Ведь это не я, а вы работали!» — кланяться, слушать рев духового оркестра.

— Ну вас к аллаху! — пробормотал инженер и пошел на завод. Инженер рассеянно отвечал на приветствия и морщился.

В кузнице к нему подошла Лена Мижуева. Молотобойцы форсили и гремели по наковальням вразмашку. Сотни раз он говорил, чтобы это безобразие было немедленно прекращено! В кузнице тесно, кувалды срываются, долго ли убить человека.

— Как сегодня, — ничего не случилось?

Лена покраснела.

— Богданова слегка подбило чижиком, — прокричала она около инженерского уха.

— Что значит «чижик»? Что это за терминология! Когда вы научитесь говорить ясно?

Лена улыбнулась.

— Сергей Николаевич, вы же прекрасно знаете,

что такое «чижик».

— Я знаю термин «обрубок металла». Никаких «чижиков» я не знал и знать не хочу. Вы — милая девушка, а усваиваете совершенно ненужный жаргон. Напрасно! Напрасно! — повторил инженер и посмотрел на Лену. Она смеялась. — Чему вы смеетесь?

— Сергей Николаевич, — Лена положила руку на рукав инженерского пиджака. — Не волнуйтесь. Приветственную речь буду говорить я. Мне поручили. Совсем не страшно. А вы с утра ходите, будто на заводе покойник.

— Как вы?

— Так, я. Очень просто.

Инженер прищурился и отошел. Слух внезапно вернулся к нему, и завод обрушился на старика громоподобным ревом.

Чествование было назначено в городском театре. Лена пришла с журналистом Соболевым очень рано. В пустом зале стоял запах масляной краски. Солнечный свет бродил среди пыльных декораций.

Медленное лето с высоким небом, с зеленоватыми ночами, с мягкой пылью стояло над городом. Онежское озеро тускло сияло огромным куском слюды. На рассветах в зарослях старых

садов шуршали, просыпаясь, птицы.

Все последние дни Соболев жил как бы под впечатлением свежего сна. Блеск в глазах Лены был печален, ее высокий голос часто срывался от волнения.

Завод, где Соболев часто бывал, разговоры с молотобойцами и споры с молодыми инженерами, загорелые лица лесорубов-канадцев, наводнявших Петрозаводск, запах воды и терпентина, белые пароходы на озере — все это было неразрывными частями одного настроения. Соболев не мог подобрать ему названия. В нем заключалась и радость и сосредоточенность, но главной его чертой оставалась легкость.

Такое состояние Соболев переживал впервые. Оно очень резко раскрывало перед ним действительность — значительную, трудную, прекрасную — и порождало множество новых мыслей.

Вот и теперь в чествовании старого инженера он видел не скучную церемонию, а давно назревшую необходимость раскрыть всю теплоту, которой был окружен этот человек за годы его мучительной работы на заводе.

На чествовании все произошло совсем не так, как предполагал старый инженер.

Представитель Совнаркома — высокий светлоглазый карел с белой головой и твердым лицом — прочел постановление о награждении инженера орденом Трудового Красного Знамени. Он пожал инженеру руки и застенчиво улыбнулся. Он был гораздо больше смущен, чем инженер.

Инженеру пришлось делать доклад. Этот доклад был очень далек и по цифрам и по фактам от прежних докладов, нависавших над заводом угрозой.

Он говорил о начавшейся полной реконструкции завода. За этим неуклюжим словом скрывалось большое содержание. Реконструкция — это выздоровление от хронического худосочия, движение в ногу с эпохой, прекрасные станки, мастерские, новые люди, сознание своей полноценности в жизни страны, наконец — это свободный размах технической мысли. И все это не прежние бесплодные мечты, порождавшие досаду, а реальность. Еще год, и от екатерининских времен на заводе останется только скверная память. Черные мастерские, похожие на казематы, треснувшие печи и допотопные станки мы сдадим в архив.

Лена взглянула на Соболева и улыбнулась.

— Куда же мы их денем, вот ужас! Соболев сде-

лал предостерегающий жест:

— Несколько лет завод был на шаг от гибели. Мы превратились в фельдшеров. Он умирал, и все наши силы были направлены к тому, чтобы не дать остановиться сердцу. Мы впрыскивали камфору и доставали подушки с кислородом. У завода не было специализации. Мы чувствовали себя нищими, — теми нищими, что слоняются по улицам и готовы то подбирать окурки, то снести вещи на вокзал, — готовы на всякую копеечную работу, лишь бы не умереть с голоду. Сейчас специализация найдена. Наш завод стал единственным в Союзе по производству дорожных машин.

Кроме того, мы делаем лодочные моторы, буровой инструмент, блоки и насосы. За последние десять лет годовая ценность наших изделий повысилась с двухсот тысяч рублей до четырнадцати миллионов рублей. Мы выпускаем сотни грейдеров, канавокопателей, снегоочистителей и других дорожных машин, отнюдь не худших, чем американские. Завод спасен, и будущий расцвет его является фактом неоспоримым. Как видите, старая поговорка, что мертвые повелевают, оказалась ошибочной. Мы сбрасываем с себя последние лохмотья прошлого. Имена строителей

завода — Генина, Гаскойна, Фуллона, Армстронга — уходят в туман легендарности и истории. Страница перевернута, и, пожалуй, сегодня мы впервые делаем свежую запись, подводим итоги борьбы за будущность завода.

Инженер кончил. Лена встала. Ей хотелось сказать очень много, но не хватило терпения.

— До сих пор, — голос Лены стал особенно звонким и возбужденным, — есть еще подслеповатые люди. Они считают наше время мало подходящим для проявления человеческих чувств. При социализме, думают они, человек становится своего рода машиной. Труд — единственная ценность, а до человеческих чувств — этого добавочного блюда — нам нет никакого дела. Наоборот, мы им даже враждебны. Эти люди тормозят строительство и, очевидно, несовместимы с подлинно революционной борьбой. Вы смеетесь. Вы правы, конечно, но такие глуповатые взгляды, несмотря на ваш смех, еще распространены и портят жизнь. Я не буду говорить о работе Сергея Николаевича. Я хочу сказать только о чувстве большой привязанности к нему, очень скрытом чувстве. Его испытывают многие из нас, в том числе и я.

Сергей Николаевич работал блестяще, но если вы добавите к этому еще его одиночество,

скупость слов, — а в ней скрывается больше участия, чем в самой крикливой помощи, — способность хорошо волноваться при мысли о будущем, я бы сказала, совсем не стариковскую, а нашу молодежную любовь к будущему и настоящему, мягкость, которой он сам напрасно стыдится, — если вы вспомните эту непрерывную и добровольную каторгу, которую он сам так скромно назвал впрыскиванием заводу камфоры, — тогда вы поймете, что мы стоим перед фактом не только блестящей работы, но и работы героической.

Я даже не приветствую его от работниц завода и стажерок, — неприятное это слово «приветствовать», а попросту хочу сказать — любим мы его, и все!

Лена покраснела и поцеловала инженера. Оркестр некстати заиграл туш, но этого никто не заметил. Чествование окончилось поздно.

Соболев вышел. Над белой ночью, над заводскими корпусами сверкала электрическая надпись: «Передовому командиру машиностроительного фронта — горячий большевистский привет!»

Огни сияли в листве садов крупной росой.

— Да, — промолвил Соболев, — она права. Производственную работу надо насытить свежестью

чувств,

Историограф литейщик Авдеев

Литейный мастер Онежского завода Петр Авдеев проводил свой отпуск в Пудоже.

Лето выпало дождливое. Над городом, над древней Пудогой, вечно писавшей московским царям жалобы на грабежи шведов, висел тяжелый дым. По утрам меня будил дождь, плескавшийся за окнами в зарослях бузины. По ночам тараканы падали с потолка в керосиновую лампу и сгорали с легким треском. Лампа тотчас начинала чадить и гасла. Днем проглядывало солнце и обливало тихим светом розовые дощатые дома. А перед вечером Авдеев заходил за мной, и мы шли на Водлу ловить рыбу.

Закат горел над лесными порубками почти до полночи, пока его не сменяло сверкание звезд.

— Вот вы историей интересуетесь, — говорил мне Авдеев, раскуривая в трубке ядовитую махорку. — Я сам большой любитель этого дела. Я историю этих мест знаю, конечно, не по книгам, а по жизни. На Онежском заводе работаю с тысяча девятьсот четвертого года, — нагляделся всякого. Вот, к примеру, здешний монастырь, — сюда иные рабочие до революции ездили к монаху Ин-

нокентию. Наш завод был военный. Сами небось знаете, — на военных заводах рабочий был солидный, бородатый, говел каждый год великим постом. А с Иннокентием, если интересуетесь, дело случилось забавное. Сейчас я его вам представлю во всей подробности.

Иннокентий — монах Балтского монастыря на Украине — был сослан в Пудож незадолго перед войной. Сослали его за буйные проповеди, взбудоражившие крестьян Молдавии. Иннокентий кричал о близости Страшного суда и лютой смерти и призывал крестьян бросать полевые работы и рыть впрок братские могилы. Тяжелое массовое наваждение охватило Балтский округ. Бабы рыдали, шили саваны и спали в чистых сорочках, — готовились к скорой смерти.

После ссылки сотни поклонников Иннокентия приехали в Пудож вслед за ним. В Пудоже проповеди продолжались. Кое-кто из богомольных рабочих завода начал навещать Иннокентия, а жены рабочих ездили в Пудож толпами.

Олонецкий губернатор приказал немедленно выслать крестьян, приехавших к Иннокентию, обратно в Молдавию. Тогда тысячная толпа стариков и исступленных женщин с детьми на руках вышла пешком из Пудожа и во главе с

Иннокентием пошла в Каргополь. Из Каргополя решено было идти на станцию Няндому Северной железной дороги.

Был февраль. Крутили метели. Толпа шла днем и ночью с пением заунывных псалмов. Дети замерзали. В Каргополе шествие остановилось, — обмороженные, обезумевшие паломники дальше идти не могли. Здесь Иннокентий был арестован, а крестьян разъединили и по частям отправили в Молдавию.

— Сами понимаете, — говорил Авдеев и сплевывал, — какой у нас существовал рабочий, — одна темнота. Захолустный завод. Революционной пропаганды почти не было, — перепадали кое-какие крохи. Первое время, конечно, в наибольшей силе оставались эсеры. Да и то — какая сила, одна видимость. Никакого научного понимания жизни нам никто не давал.

В 1904 году конторщик завода Кузьмин втянул Авдеева в партию эсеров. Кузьмин — угрюмый и экзальтированный юноша — кашлял кровью и мечтал об убийстве Николая Второго. По внешности он походил на монашка из заштатного монастыря. Льняные волосы торчали косичками, а серые глазки поглядывали хмуро и недоверчиво.

Авдеев не считал Кузьмина способным на «крупное дело». Уж очень непонятной казалась любовь Кузьмина к церковной службе и пристрастие к «божественной» живописи.

В свободное время Кузьмин часами просиживал в своей каморке, копируя в красках «святые семейства» итальянских мастеров. Особенно тщательно Кузьмин выписывал пухлые облака над головами святых и незабудки у их жилистых ног, обутых в сандалии. Авдеев не мог сказать почему, но эти водянистые картинки его раздражали.

Вера в Кузьмина была окончательно подорвана после «Иннокентьевского дела».

Кузьмин считал иннокентьевщину народным движением и собирался ехать в Пудож, чтобы придать ей революционный характер. Но он опоздал. Эсеровская организация к тому времени была разгромлена. Кузьмин все чаще говорил о желании уйти в монастырь, чтобы изучить иконописное мастерство. Потом он бросил эту мысль и начал носиться с идеей индивидуального террористического акта.

В это время в Петрозаводск приехал сенатор Крашенинников, прославившийся жестокими приговорами по политическим делам. Час для красивого, но бесцельного жеста пришел. Кузь-

мин решил убить Крашенинникова, но у него не было ни револьвера, ни бомбы. Он бросился на Крашенинникова с ножом и легко ранил сенатора в шею.

Кузьмин был повешен. Перед казнью, глядя, как тюремные надзиратели, суетясь, готовили виселицу, он сказал:

— Эх вы, даже вешать не умеете!

Смерть Кузьмина не примирила Авдеева с эсерами. Он все больше отходил от них и все чаще наведывался в книжный магазин, открытый студентом Копяткевичем. Магазин этот был первым политическим клубом в Петрозаводске, центром местной группы большевиков.

В магазине Авдеев познакомился с молоденькой курсисткой Галиной Тушовской. С ней он пошел на первый большевистский митинг рабочих Александровского завода.

Митинг был назначен на Древлянке.

Догорала осень. В березовом лесу было сумрачно и тихо. Свет от палой листвы освещал снизу взволнованные лица собравшихся.

Тушовская читала последнюю статью Ленина. Она была больна туберкулезом, и чтение все время прерывалось кашлем.

Тушовская сидела на мокрой ржавой траве.

Авдеев снял пиджак и укутал им курсистку. Она улыбнулась и подняла на Авдеева спокойные глаза, — лицо ее показалось ему совсем детским.

Под вечер на митинг пришел наборщик Лазарь Яблонский — основатель петрозаводской группы большевиков. Он сказал насмешливую речь против эсеров.

Петрозаводские эсеры — «народ бледный и тихова-тый» — возражали вяло и неудачно. Кто-то крикнул, что едут стражники. Пришлось уходить вброд через ледяную Лососинку.

Авдеев во время наших неторопливых бесед на реке несколько раз упоминал о чувстве радости, оставшемся на душе после митинга. Он впервые столкнулся с биением революционной мысли, привезенной в это царское захолустье в трюмах грязных пароходов, в серых листовках, в горячих головах студентов, — революционной мысли, шедшей из-за рубежа, из Швейцарии, где жил Ленин. Имя это по самому своему звучанию казалось Авдееву надежным и крепким.

Лазаря Яблонского вскоре сослали в Вятскую губернию. Большевистская организация была разгромлена, тридцать рабочих-большевиков арестованы на заводе. Авдеев избежал ареста.

Наступило безвременье. После вспышки пя-

того года, после демонстрации у стен тюрьмы и массовок на кургане, где красный флаг прибивали прямо к дорожному кресту, на заводе стало безлюдно и угрюмо. Захолустье заливало жизнь скукой и безнадежностью. Вместо митингов рабочие ходили по воскресеньям в лес собирать грибы. В Закаменном опять начались кулачные бои. Лишь немногие хранили в сундучках прокламации, отпечатанные на гектографе лиловой бледной краской.

Летом 1914 года по сухим болотам вокруг города горело мелколесье. Из деревень шли хмурые растерянные ратники. Их сажали на пароходы, расцвеченные бумажными флажками, давали каждому по черносотенному листку «Карельского православного братства» и под вой баб и медные раскаты гимна отправляли в Вознесенье.

На заводе ввели военное положение. Рабочих объявили военнообязанными.

Население переходило на картошку. Хлеб шел по Мариинской системе туго, с перебоями.

Завод день и ночь сверлил снаряды. Из Парижа приехали французские офицеры-инструкторы. Заводскую контору завалили синими чертежами фугасных французских гранат, — завод присту-

пил к их изготовлению.

За время войны была только одна попытка забастовки в механическом цехе завода. Авдеев, вспоминая о ней, злобно крякал. Правда — собирались, правда — потребовали увеличить заработок, но начальник завода уволил токаря — председателя собрания, а рабочим посоветовал вести себя поспокойнее. На этом забастовка и кончилась.

— К нам и революция пришла с опозданием на четыре дня. Удивительно, как за последние годы переродился народ. Об этом можно целые доклады писать. Как мы завод после революции тянули из ямы! Страшно подумать. Теперешний директор старик Сергей Николаевич Эрихман на своих плечах вынес весь завод. Я добровольно перед ним за это шапку снимаю. За честность я его уважаю и за седую голову. Седому человеку поверить в революцию не так просто, — она вещь беспокойная. Было время — в двадцатом, скажем, году, — придет он в мастерские, а нас человек пять мучается около печей, и такая на заводе тишина, — прямо как в музее. Дворы травкой заросли, — одним словом, помирал завод. Старик спас, голова у него работает, как ни у кого. А теперь что? Видели? Кипение, если можно так

выразиться, — молодежь бурлит. Машины делаем такие, что приходи, смотрись, как в зеркало. Но, конечно, не даром все это далось. И Эрихман мучился, и мы, старые рабочие, с ним мучились, но вера в нас жила, понимаете, вера, что никак невозможно погибнуть заводу. Бывало, тошнит тебя от слабости, на себя взглянуть страшно, а рука не дрожит, рука действует правильно. Бывали случаи, — расслюнится иной, скажет: «Дураки, прилипли к своему паршивому заводу, ни черта у вас не получится», — так за такие слова подчас били. И стоило, говоря по совести, бить. Не наводи тень на ясный день!

Заводской музей

Заводской музей помещался на Голиковке в церкви, построенной в память посещения завода Александром Первым. Мы пошли туда с Соболевым в конце рабочего дня. Сторожиха открыла нам белый гулкий храм, заперев нас снаружи.

В музее было холодно и тихо. За низкими окнами цвел чертополох.

Мы подымали маленькие морские пушки — «трикки», изготовленные на заводе в начале XIX века, стучали по кандалам и трогали холодную и пышную прическу Екатерины II на ее бюсте,

отлитом из зеленоватого чугуна. Екатерина смотрела на нас выпуклыми надменными глазами.

Мы рассматривали модели грейдеров — исполинских скребок, прорезающих новые дороги, и жмурились от блеска слюды, сваленной около витрин.

Особенно долго я рассматривал камни. Самый древний в мире каменный уголь — «шунгит» был черен и матов, будто он впитал в себя темноту тысячелетних полярных ночей. Барит походил на слоистые желтые облака. Кварц напоминал прозрачный розовый лед. На изломах он блестел сиреневым огнем. Сургучный порфир, синеватый диабаз и мрамор сорока пяти раскрасок — от белой до черной — составляли необыкновенный каменный спектр.

Соболев потянул меня за рукав к витрине, где на тарелках лежали круглые мелкие камешки, похожие на горох. То была знаменитая озерная руда. На ней в старое время работал Онежский завод.

— Возможно, — сказал Соболев, — что завод опять перейдет на озерную руду. Запасы ее в Карелии громадны. До сих пор их никто по удосужился подсчитать. В одном Выгозере, по самым кустарным предположениям, ее лежит четыр-

надцать миллионов тонн, не говоря о сотнях других озер. В иных озерах слой руды бывает в метр толщиной.

Вы читали «Калевалу»? Там есть упоминание о железном горохе, рассыпанном по дну озер и подо мхом в болотах. Недавно в архиве я нашел приказ первого начальника завода Вильяма Генина о добыче озерной руды. Он говорит, что «для приискания руды более надежды имеется в тех озерах, в коих вода мутна и черновата».

Между прочим, в письме к Меншикову Генин пишет о тщетных поисках руды вокруг Петровского завода и горестно восклицает: «Открытие Верхотурских медных рудников приписывают быку. О, если бы такой бык сыскался в Олонецких горах и разрыл там такую же богатую рудную жилу, — от коликих бы он освободил трудов олонецких рудокопателей».

Руду добывали из небольших озер. Крупные озера еще не тронуты. Это объясняется тем, что на малых озерах спокойнее, не бывает волны, а руду вытаскивали со дна черпаками. Плавали мужички на плотах и черпали, — дело медленное и тяжелое. Потом руду отмывали от песка и глины в ситах, складывали в кучи, обжигали дровами — и все.

Вот видите, здесь руда похожа на горох, а там на лепешки. Эта называется бобковой, а та — череповатой. Форма руды объясняется ее происхождением. Мы сталкиваемся с вопросом очень неясным. Об этом есть несколько теорий. Принята теория профессора Иностранцева. Соболев посмотрел за окно и помолчал.

— Вы химию знаете? Что я хотел сказать? Да… В той химической реакции, какая приводит к образованию озерной руды, ничего сложного как будто нет. Происходит так…

Соболев опять пристально поглядел за окно. Он почему-то начал волноваться и изложил мне теорию Иностранцева очень коротко.

— Вода размывает богатые железом породы. В здешней воде много угольной кислоты. Вот ее формула, — Соболев написал на витрине пальцем CO_2. — Угольная кислота соединяется в воде с железом и образует железную углекислую соль. Как, однако, долго!

— Что долго? Соболев покраснел.

— Я говорю, как долго длится этот процесс. В озерах железная углекислая соль при первом же соприкосновении с песчинками или галькой на дне теряет углекислоту и превращается в водную окись железа — в бурый железняк. Поэтому внут-

ри каждой горошины и лепешки обязательно есть песчинка или галька. Если внутри лежит песчинка, то получается горошина, если галька — получается лепешка.

Как видите, все очень просто. Минералог Перфильев открыл, что в образовании озерной руды большую роль играют особые бактерии, живущие в воде. С его теорией я незнаком. Но и та и другая теория говорит о непрерывном образовании озерной руды. Запасы ее все время увеличиваются. Завод может быть обеспечен на многие годы.

Когда мы рассматривали старинные кружева из олонецкого жемчуга, в стеклянную дверь музея постучали. Я поднял голову и увидел взволнованную улыбку Лены Мижуевой. Я смутился. Очевидно, я некстати пришел с Соболевым и помешал их встрече. Сторожиха отперла дверь и выпустила нас из холодного музейного плена.

Замечания действующих лиц о таланте металлурга

Я не делал тайны из своей работы над книгой об Онежском заводе. Поэтому нет ничего удивительного, что я получил несколько писем от людей, ставших действующими лицами этого повествования. Письма застали меня в средне-

русской глуши на берегу лесных озер с черной торфяной водой.

Я отдыхал, слушая крики ночных птиц, плеск рыбы, гул надвигающихся гроз.

Старый инженер с Онежского завода писал коротко:

«Я не принадлежу к тем специалистам, которые считают нужным относиться к художественной литературе с пренебрежением. Я узнал, что вы пишете обо мне. Это меня смущает. Я очень прошу не делать из меня героя. Жаль, что вы не можете попасть на завод сейчас. Я показал бы вам литейщика Астекайнена. Весь завод приходит любоваться его литьем. По своей точности и изяществу оно превосходит все, что было отлито у нас до последнего времени. Даже мосты на Мойке и садовые решетки бледнеют перед великолепными частями грейдеров и насосов, изготовленными этим мастером.

Мне кажется, что было бы очень уместно написать о рабочем мартеновского цеха Иване Корсакове. Вы должны его помнить. Он стоит на чугунной площадке около печи, и вы, кажется, были удивлены его необыкновенным спокойствием.

Корсаков тридцать лет проработал на нашем

заводе. Самое поразительное, что за эти тридцать лет у него не было не только одного часа, но получаса прогула. Вот какова онежская северная кровь! Корсаков ни разу не болел.

О Корсакове рабочие говорят, что он видит металл насквозь лучше микроскопа. Это отчасти верно. У Корсакова развит особый талант металлурга. Корсаков варит сталь так же, как искуснейший художник составляет прочную и верную по своему оттенку краску.

Вообще должен вам сказать, что у нас на заводе немало людей, пропитанных, если можно так выразиться, запахом металлургии, в том числе и ваш покорный слуга.

В разговоре со мной в Петрозаводске вы мимоходом упоминали о не весьма приятной, на ваш взгляд, любви технических работников к сугубой точности. Могу вас успокоить. Конечно, гайка должна быть выточена по калибру, и малейшая ошибка на десятую миллиметра превращает ее в брак. Но не думайте, что с этим же калибром мы подходим к литературе. Я твердо памятую, что Ньютон открыл закон всемирного тяготения лишь благодаря своей фантазии. Я полагаю, что художественные образы должны носить характер действительности, но им нет никакой надобно-

сти точно с этой действительностью совпадать».

О безжизненной морали

Письмо Лены Мижуевой начинается с упрека.

«Слушайте, вы — писатель! Я очень зла на вас за то, что вы пишете обо мне. Но вместе с тем — не буду уж таить этот грех — я пропадаю от любопытства и хочу поскорее прочесть, что вы такое о нас всех написали. Только, пожалуйста, без бодрых девчат в трусах, марширующих по улицам со звонкими песнями, грудью вперед и разговаривающих по учебнику политграмоты. Не делайте из нас плакатных комсомолок, смеющихся за работой, ибо это глупо. Не заставляйте нас разводить на каждом шагу принципиальную мораль. Вообще не подражайте газетам и не забывайте, что мы со всеми нашими недостатками и опрометчивостью гораздо умнее, чем нас усиленно изображают писатели.

Написали ли вы о Шарле Лонсевиле? Его жизнь вошла в мою память занозой.

Кстати, еще о себе. Я вышла замуж за Соболева. Живем весело, но, как водится, безалаберно. Сейчас Соболев уехал в Сороку, разыскивать материалы по истории гражданской войны, — как вам нравится этот муж — архивный червяк!

Соболев говорит, что архивы — это история, а история — лучший иммунитет против скверного прошлого.

Ну, довольно. Я искренне желаю вам успеха и счастья. Живите и работайте хорошо.

Делаю приписку у себя в цеховой лаборатории. Вы спрашивали меня, как я отношусь к писательству. У меня на этот счет есть своя затаенная мысль. По-моему, писатель должен иногда показывать людей и вещи не такими, каковы они на самом деле, а такими, какими они будут или должны быть. Писатель должен предугадывать и предчувствовать, — не сердитесь на меня за это плохое слово. Если я нахожу у кого-нибудь эти черты, то мне ясно, что он писатель настоящий.

Боюсь, что по глупости своей пишу очень туманно. Ну, представьте себе, что вы долго и нетерпеливо ждете поезда. Если так ждешь, то отчетливо слышишь шум подходящего поезда тогда, когда никто из окружающих его еще не замечает. Напряженное ожидание обостряет слух. Так же должно быть у писателей. Напряженное представление о полноценной жизни обостряет способность выхватывать из действительности уже существующие и разрозненные черты этой будущей жизни. Это свойство я очень ценю».

О саркофаге Наполеона

Третье письмо я получил от человека, не попавшего в эту книгу. То был гранильный мастер Вершилло — консультант Онежского завода по буровым инструментам.

«Я забыл сообщить вам, дорогой товарищ, кое-что интересное о карельских камнях. Лучший по цвету здешний камень — шокшинский порфир. В Мавзолее на Красной площади в Москве им выложено слово „Ленин“. Шокшинский порфир покрыт струями, за это его и ценят. Камень без струи — мертвый камень. В нем нет игры и жизни.

Не знаю, известно ли вам, что саркофаг Наполеона в Париже сделан из карельского порфира и мрамора. Вы подумайте, как по здешним гнилым гатям волокли до берега озера двадцать семь громадных порфировых монолитов для отправки в Париж.

Камней и всяческих ископаемых здесь великое множество. Всего не перечтешь — гранит, порфир, диабаз, горшечный камень, шунгит, всяческие железняки, медь, золото, шпат, минеральные краски, кварц и, наконец, слюда. Обратите особенное внимание на слюду.

Про диабаз, из которого делают московские мостовые, я не говорю. Об этом известно всякому. Между прочим, чертовски прочный камень, и по поводу этой его прочности я хочу вам рассказать любопытный случай.

Недавно совершил я на старости лет глупость, а втравил меня в это дело пожилой моряк, капитан Ерченко.

Жил я три недели в доме отдыха на Медвежьей горе. Жили со мной Ерченко и молодой ученый из Ленинграда Михельсон. И случилось досадное происшествие — Михельсон пошел на охоту с собакой Ерченко Тузиком, по своей близорукости принял Тузика, скакавшего в высокой траве, за зайца, выстрелил и убил наповал. Естественно, возникла ссора.

А надо вам сказать, что этот самый Михельсон изучал перед этим древние рисунки, выбитые на скалах в некоторых местах на берегу озера. Называются эти рисунки петроглифами и выполнены они не без мастерства, даром что им, по определению Михельсона, по две тысячи лет.

Так вот, капитан Ерченко решил отомстить Михельсону. В планы своей мести он посвятил и меня. Даже больше, — взял меня к себе в эксперты, и мы две недели ухлопали на то, чтобы

выбить на одной из диабазовых скал фигуру черта с телефонной трубкой. Вот тогда-то я и узнал подлинную крепость диабаза.

Потом, конечно, Ерченко пустил слух, что найден новый петроглиф, Михельсон побежал туда, а за ним весь дом отдыха. Что было, вы легко можете представить. От хохота люди прямо падали на землю.

Да, следует, конечно, заинтересоваться слюдой. Под Кандалакшей есть залежи мощностью почти в метр. Без слюды не может существовать ни радио, ни телефон, ни автомобильная промышленность. В старину, конечно, здешнюю слюду употребляли только как стекло и называли даже „стеклом святой Марии“. Местная слюда прекрасного качества и чистоты — розовые пластинки попадаются редко.

Про шунгит вы, должно быть, знаете. Это самый древний по происхождению каменный уголь. Как топливо чистый шунгит слаб: загорается медленно и горит не очень жарко. Но в золе его содержится три процента ценнейшего металла ванадия. А ежели шунгит смешать с донецким углем, то горит он великолепно.

Вообще богатства здесь — непочатый край. Простите за советы, но на камни, по моему

скромному разумению, надлежало бы обратить внимание. Правду сказать, камень здешний основательно забыт.

В случае чего — пишите. Книга — дело деликатное, поэтому не обессудьте меня за вмешательство не в свои дела».

В беспрерывном волнении

Капитан Тренер, командир пассажирского парохода, на котором я плавал по Онежскому озеру, прислал письмо, полное, по обыкновению, надежд и беспокойства. Оно не имеет прямого отношения к Онежскому заводу, но оно очень «онежское», и потому я решаюсь опубликовать его.

«Впредь я буду водить озерные пароходы из Ленинграда в Онежское озеро — самое подходящее занятие для престарелых капитанов. Озеро это, как вы знаете, я крепко люблю, но любовью странной. Я выкапываю много интересных вещей, имеющих к нему довольно отдаленное отношение, и вещи эти меня весьма радуют.

Сейчас я решил заняться восточными берегами, где до сих пор еще поют былины. Какие там леса! Какие озера! Какие древние слова и — самое интересное — какие своеобразные перемены

происходят в этих дебрях теперь!

Мой лозунг — долой белые пятна как на карте земли, так и в научных системах! Нахальный лозунг, не правда ли? Когда я наконец успокоюсь?

Мне надоело испытывать беспрерывное волнение по поводу вещей, из которых, как говорит народная мудрость, „шубы не сошьешь“.

Но это — самая постоянная из черт моего характера.

Приезжайте к нам в Ленинград. У нас на седьмом этаже закаты светят прямо в окна. Ленинград изнемогает под тяжестью садов и солнца, — лето стоит удивительно ясное, — и Наташа перестала наконец плакать по ночам над книгами. Итак, все в порядке. *Тренер».*

Последний раз я перечитывал эти письма у костра. Слепые зарницы в беспамятстве падали в черную воду. Над зарослями волчьих ягод переливалась каплей ключевой воды утренняя Венера — та звезда, чей свет я так часто видел над берегами туманного Онежского озера.

1932

В прифронтовом колхозе

Дорога шла по дну широкой балки. Пахло степью — горькими травами, сухой полынью, чабрецом. Ночь пришла внезапно, как всегда на юге, и водитель вел машину на ощупь. Пора было остановиться на ночлег, но вокруг не было ни одной хаты, ни одного человека. Только на краю земли часто вспыхивали бесшумные зарницы — отблески далекого ночного боя.

Потом в небе зачернел одинокий шест колодца — украинского «журавля». У колодца кто-то осторожно курил в руку.

— Эй, — крикнул водитель, — земляк! Где бы тут заночевать?

К машине подошел дряхлый старик с охотничьим ружьем.

— Ночевать, надо думать, негде, — ответил он ласково, — кроме как в моей хате. Я колодец стерегу в степи.

— А далеко до твоей хаты?

— Да туточки, за бугром.

— Ну садись, показывай дорогу.

Старик сел, кряхтя, в машину. Глаза его хитро поблескивали в темноте. Ехали мы долго, давно

миновали бугор, а стариковской хаты все не было. Водитель начал ворчать.

— Зараз будет, — успокаивал его старик. — Ночью всегда дорога длинная.

Неожиданно в темноте появились вооруженные люди.

— Стой! — строго крикнул старик. — Приехали. Показывайте документы, товарищи!

Старик схитрил и вместо своей хаты привел нашу машину к колхозному патрулю. Нас вежливо попросили выйти, привели в правление колхоза и проверили при свече документы.

— Не взыщите, — сказал, улыбаясь, председатель колхоза — маленький молчаливый человек по фамилии Халупняк. — Мы всех проверяем. У нас день и ночь конные объезжают дороги, у нас каждый колхозник обязан быть бдительным. Ну, раз вы свои, то устраивайтесь, а мы вас покормим.

Был уже час ночи, но вокруг хаты, где мы остановились, началось оживление. Старая колхозница принесла кувшин молока, босой мальчик — краюху свежего белого хлеба и миску меда, а сам Халупняк разложил на столе брынзу, украинскую колбасу и вытащил из кармана пачку махорки.

Колхоз «Маяк», куда мы попали, самый обыкновенный колхоз области. Он не миллионер, но надеется после войны стать миллионером. У него две тысячи гектаров пшеницы и подсолнуха, сады, виноградники, породистый молочный скот, каракулевые овцы, около триста лошадей и множество птиц — уток, гусей, кур, индюшек.

Но сейчас колхоз живет напряженной военной жизнью. Он похож на вооруженный лагерь. «Все для армии» — так сказал нам Халупняк и так думает каждый колхозник. Сущность подлинной народной войны заметна здесь с особенной силой. Армия и народ неотделимы, неразрывны, — это по существу одно и то же.

Мужчины ушли на фронт. Женщины спешно убирают хлеб.

Работают все — от древних стариков до белобрысых мальчишек. Мальчишки — «хлопчики» — сменили взрослых и потому ведут себя, как взрослые: строго, с достоинством, без лишних разговоров. Все они — ездовые на уборке богатого урожая и, кроме того, разведчики. От их зорких глаз не скроется ни один подозрительный человек. Они знают каждый ров, где может спрятаться враг, и находят диверсантов быстро и безошибочно.

На следующее утро при нас две молодые колхозницы заметили в полях странного человека. Он был в комбинезоне, без шапки, весь в пыли и соломе. Увидев колхозниц, он лег. Они же нарочно остановили телегу и начали пить из крынки холодную воду. Человек в комбинезоне не выдержал. Он вышел из пшеницы и знаками попросил пить. Глаза у него были мутные, он шатался и только мычал. Женщины схватили его, связали вожжами, он сопротивлялся, но очень слабо. Человек этот оказался немецким летчиком. Его самолет был сбит нашим истребителем. Немец спустился на парашюте и два дня прятался в пшенице, пока не наткнулся на наших колхозниц.

— А вы не опасались, бабочки? — спросил наш водитель колхозниц. — Немец ведь был вооруженный!

— Мы думали, что он будет стрелять, — ответила нараспев одна из колхозниц. — Так и думали. А он не успел.

На уборку хлеба были брошены все. Уборка была трудная: зной, сухость, воровские налеты немецких истребителей, пытавшихся расстреливать колхозников пулеметным огнем. Но хлеб в «Маяке» был убран вовремя и вовремя обмолочен.

На следующий день, когда мы уезжали из колхоза, тот же старик, который нас задержал, сел в машину, чтобы показать нам дорогу до большого шляха.

— Война! — сказал старик задумчиво. — Мне много годов. Я еще в ту войну ранение получил. И я всем бойцам проходящим говорю: «Не отдавайте, сынки, тому немцу ни одного колоса пшеницы, ни кружки воды из наших колодцев, ни одной соломинки из нашего стога. Наше дело, как я понимаю, светлое, трудовое, и верх будет наш!»

1941

Зеленая стража

Любовь к лесу родилась у меня еще в детстве. Когда я был гимназистом четвертого или пятого класса, наша семья проводила лето в знаменитых Брянских лесах. Раньше они назывались Дебрянскими, — от слова «дебри», непроходимые лесные чащи.

Я никогда не забуду тот летний вечер, когда я впервые ехал на телеге с маленького полустанка в глубину этих лесов. Все казалось мне удивительным и таинственным: и вершины сосен, терявшиеся во мраке, и туман над болотами, и блеск звезд в вышине между ветвей, бесшумный полет темных птиц. Тогда я еще не знал, что это летали совы.

Мне все казалось, что в лесной тьме, вот здесь, в нескольких шагах от дороги, прячутся в овраге разбойники, а меж стволов тускло блестят озера с покосившимися сторожками на берегах. Мне казалось, что со дна этих озер долетает едва слышный колокольный гул, пока я не догадался, что это шумят сосны.

Днем лесной край предстал передо мной во всей своей мощи и нетронутой красоте.

Любимым занятием нас всех, мальчишек, было лазание на вековые сосны. Мы забирались на самые вершины. Оттуда, казалось, можно было дотянуться рукой до пышных летних облаков. Там сильно, до одури пахло нагретой смолой и во все стороны простирался великий неведомый лес.

Можно было часами сидеть на вершине сосны и смотреть на этот хвойный океан, слушать шум, похожий на ропот прибоя, и гадать о том, что скрывается там, в дебрях этих безбрежных лесов.

В Брянском лесу я впервые встретился со старым лесничим и узнал от него много вещей, показавшихся мне невероятными.

Я узнал, например, что лучшие семена сосны лесоводы добывают из беличьих складов, потому что белка собирает только самые здоровые и свежие шишки.

Я узнал, что брянская сосна растет на песчаной земле, смешанной с фосфоритами, и потому нет в мире лучшей сосны по прочности и красоте древесины.

И, наконец, я узнал главное, что лес, и один только лес, спасает землю от высыхания, от засух, суховеев, неурожая и порчи климата.

С тех пор я понял великое значение леса для

жизни человека, для жизни земли. Я узнал простой закон — проверенный веками. Он говорит, что каждый гектар уничтоженного леса вызывает неизбежную гибель гектара плодородной земли.

Уничтожение лесов ведет к высыханию земли. Лес задерживает влагу. Снега тают в лесах гораздо медленнее, чем в безлесных местах, спокойно просачиваются в глубину почвы. Потом лес медленно и равномерно отдает эту влагу окрестным полям и рекам. А в безлесных голых полях талые и дождевые воды стремительно скатываются в реки, вызывают наводнения и безвозвратно уносят огромные слои плодородной земли. На полях остается тощая бесплодная земля, а реки быстро мелеют и заносятся илом и песком.

Особенно опасно сводить леса по склонам холмов и гор. Тотчас от дождевых потоков начинается рост оврагов. Только у нас в стране овраги уничтожили около трех миллионов гектаров полей.

В горах дождевые воды низвергаются в долины, заносят их жидкой глиной, обломками скал, и, бывает, под этими пластами грязи гибнут целые поселения.

Лес питает родники и реки своей чистой водой.

Большинство рек берет начало из лесных болот и озер. В местах, где лес уничтожен, подпочвенная вода уходит очень глубоко, и тотчас начинается обмеление рек. Но лес не только хранитель вод. Он спасает землю от сыпучих песков и суховеев.

За последние сто лет из-за вырубки лесов летучие пески появились там, где их никогда не было. Площадь земли, затянутой этими песками, увеличилась во много раз.

На юго-восток от нашей богатой и прекрасной русской равнины лежат Закаспийские пустыни — бесплодные и никчемные области земли. Пустыня страшна тем, что она непрерывно движется. Ветер подымает на воздух целые материки мелкого песка. Солнце меркнет в багровой пыльной мгле, и начинается грозное и зловещее наступление песка на плодородные земли.

Кроме песка, ветры из пустыни — у нас их зовут суховеями — несут с собой раскаленный, все иссушающий воздух.

Сохнут хлеба, перегорает в пепел листва деревьев, трескается от жара земля.

Человек может и должен остановить наступление пустыни. И в этом ему может помочь только лес, только могучие зеленые стены лесов, выдвинутых, как боевые форпосты, навстречу

суховеям.

В октябре этого года правительством Советского Союза и ЦК ВКП(б) был обнародован смелый, не имеющий себе равных в истории, план насаждения лесов на восточных рубежах Союза. Это — план создания новой природы. Тысячекилометровые лесные полосы остановят суховеи и спасут от высыхания плодородную землю.

Когда думаешь об этом, то невольно завидуешь нашей молодежи, потому что она будет осуществлять эту прекрасную и небывалую работу.

Леса оздоровляют землю. Они не только исполинские лаборатории, дающие кислород. Они поглощают из воздуха пыль и ядовитые газы. Достаточно того, что в воздухе городов в несколько тысяч раз больше микробов, чем в воздухе лесов.

Нет, пожалуй, ничего целебнее и прекраснее, чем воздух сосновых боров, — смолистый, мягкий, настоянный на запахе хвои, трав и цветов. Поэтому в нашей стране так берегут леса вокруг больших городов и справедливо называют их «легкими города».

Этим летом старуха колхозница из Мещорских лесов под Рязанью сказала мне:

— Наши леса трогать немыслимо. Они дышут на Москву издали своим легким воздухом. В

наших лесах живи, сколько хочешь, хоть сто — полтораста лет, никто тебе слова не скажет.

Наконец, есть еще одно прекрасное свойство лесов. Они, если говорить языком наших ученых-лесоводов, являются наиболее благотворной средой для кристаллизации человеческой мысли и для творчества.

Красота наших лесов всегда была источником вдохновения для наших поэтов, ученых, композиторов и художников — Пушкина, Гоголя, Чехова, Аксакова, Чайковского, Бородина, Пришвина, для историка Ключевского, создателя нашей авиационной науки Жуковского, художников Левитана, Нестерова и многих других.

Наш народ всегда любил, знал и ценил лес. Недаром столько сказок и песен сложено о наших дремучих лесах.

Мы — великая лесная страна. Наша лесная наука — самая передовая в мире. Мы дали миру таких ученых, как Докучаев, Тимирязев, Вильямс.

Они были не только исследователями, но и хранителями лесов. И, вспоминая их, мы не можем не вспомнить об огромной армии простых и незаметных героев, — о наших лесоводах, лесниках и объездчиках, об их напряженном и суровом труде.

Они — хранители леса и тем самым хранители тех сил природы, которые дают нашей стране урожаи, ее богатства и без сохранения и развития которых немыслимо наше счастливое будущее. В заключение мне хочется привести здесь одну надпись на фанерной табличке, которую я видел в Гришинском:

«Глядите — берегите этот лес. Погубить его можно за день, а выращивать надобно сто лет. Поэтому и разводить костры запрещается строго. Объездчик Андрей Потапов».

В лесах — наше будущее, судьба наших урожаев, наших полноводных рек, нашего здоровья и, в известной мере, нашей культуры. Поэтому лес надо беречь, как мы бережем жизнь человека, как мы бережем нашу культуру и все достижения нашей необыкновенной эпохи.

1948

Первые листья

С утра из Заволжья начал задувать «казахстанец». Степь задымилась. Ветер срывал красноватую пыль с дорог и уносил ее к Дону, к Хопру, к Тамбовщине.

Пыль летела косматыми языками, припадая к земле. Тончайшая эта пыль была похожа на пудру. Она забивалась даже под стекла часов.

Мгла клубилась над степью, и в этой мгле мчались, подскакивая и вертись, сухие кусты перекати-поля.

Стоял ранний май, но в это трудно было поверить. Желтели вдалеке обрывы пересохших балок, побурела от пыли полынь, и самое небо было покрыто свинцовым налетом.

Дорога из Сталинграда в Дубовку, на лесные полосы тянулась степью. «На сколько хватает глаз, — как любили говорить писатели прошлого века, — ничто, кроме ленивого полета коршунов, не нарушало степного однообразия». Но так казалось только вначале. Глаз очень быстро привыкал к этому однообразию, к прямой черте горизонта и начинал замечать по обочинам дороги изорванные взрывом остовы грузовиков,

втоптанные в землю танковые гусеницы и пулеметные диски, покрытые спекшейся глиной.

В густой дорожной пыли валялись пули. В иных местах их было так много, что они хрустели под ногами, как гравий. Большими островами то появлялись, то исчезали по сторонам поля недавних сражений. Недавних сражений! Годы мирного труда отодвинули войну так далеко, что, казалось, между нашим временем и войной уже легло столетье.

Характерно, что именно здесь, в Сталинграде, где еще высятся молчаливые руины и цепь пушек, поставленных на гранитные постаменты, отмечает железную линию обороны, все заняты кипучим трудом — закладкой новых ветрозащитных лесов, строительством исполинской плотины через Волгу, сооружением Волго-Донского канала, постройкой удивительных машин, Как, например, землесоса, который заменяет труд тридцати пяти тысяч человек. Недаром на дверях комнаты в подвале универмага, где был взят в плен Паулюс, сейчас висит мирная табличка: «Дежурный пожарной охраны».

Две огромные лесные полосы протянуты через сталинградские степи. Ближе к Волге проходит полоса Саратов — Астрахань шириной в сто

метров, а за ней, глубже в степь, идет тройная линия лесной полосы Камышин — Сталинград. Эта полоса пролегает по водоразделу Волги и Иловли и обходит мощными поворотами крутые степные балки.

Полоса эта носит название «трассы юности». Она посажена сталинградскими комсомольцами, взявшими обязательство закончить посадку новых лесов в три с половиной года вместо пятнадцати лет.

Около «трассы юности», на краю небольшой балки я увидел цветущую дикую яблоню. Она росла совершенно одна в открытой степи. Она вся шумела и трепетала от ветра, но ветер не мог оторвать от яблони ни одного лепестка. Очевидно, за многие годы жизни дерево выработало в себе цепкость, упорство, способность противостоять жестоким суховеям. Ствол яблони казался отлитым из узловатой серой стали. И, как окалина на стали, желтели на яблоне лишаи.

Такую же школу выносливости и упорства придется пройти и молодым дубкам, посаженным в здешней степи. Работники лесной полосы называют их героями. Нет более поразительного и трогательного зрелища, чем эти побеги с прозрачными — то зелеными, то красноватыми и еще

липкими листьями, что цепко держатся в сухой земле и тянутся из солончаков навстречу ветру.

Дубки еще невысокие, — их посадили только в прошлом году. Надо нагнуться к земле и посмотреть вдоль посадок. Тогда хорошо бывают заметны полосы дубовых побегов, прорезающие степь от горизонта до горизонта как бы бесконечными зелеными шнурами.

В первые четыре года молодые дубки идут, как выражаются лесоводы, «в корень», закрепляются в земле и только после этого начинают расти в вышину — до полуметра за каждое лето.

Вокруг молодых дубков насажена зеленая теневая «охрана» из желтой акации, татарского клена и ясеня. Лучше всего разрослась акация — она уже высотой по колено и дает первую перистую тень.

Мы долго сидели на растрескавшейся земле на опушке будущего леса и смотрели, как ветер бежал волнами по молодой листве. И долго слушали ее еще неясный, еще как бы застенчивый шум, небывалый в этих волжских пустынях первый шум леса.

Высокий, загоревший от солнца человек в черной гимнастерке с боевыми орденами, начальник лесного участка — человек резкий и требовательный, — очень осторожно прикоснул-

ся к трепещущим дубовым листочкам и сказал:

— Да… Истинные герои! Выстояли! Я не мастер, понимаете, по части поэзии. Мое дело — посадочные машины, графики работы и все такое прочее. А все же скажу, что Пушкин был прав, когда написал: «Здравствуй, племя младое, незнакомое! Не я увижу твой могучий поздний возраст».

Он замолчал, растирая на ладони комок твердой глины. С бугра, где мы сидели, была видна далекая Волга, свинцовая от ветра.

— Тяжелая земля! — сказал он наконец, разжал ладонь и показал горсть бурой шершавой земли. — Солонцы! Видите эти плеши в степи? Это все солонцы, будь они четырежды прокляты! Теперь понимаете, какие испытания должны были выдержать эти дубочки?

Да! Это было удивительно. Тем более удивительно, что желуди для посадок в сталинградской степи были присланы из-под Львова и Белой Церкви, — из мест, где дубы растут на влажной тучной земле, где нет ветров, где деревья избалованы мягким климатом.

Эти молоденькие дубы были потомками тех, воспетых Гоголем «подоблачных» украинских дубов, по которым от сильного ветра «прыщет золото» солнечного света.

Посадка ветрозащитных лесов еще не всюду закончена. Очевидно, в дальнейшем следовало бы присылать в эти засушливые места желуди из тех областей Союза, где климат приближается к здешнему, желуди из степных дубрав, таких, как Шипов лес в Воронежской области или лес на берегу Хопра около Борисоглебска.

Этот лес внезапно возникает за окнами вагона после сотен километров степей, где не видно ни кустика. Возникает, как некое чудо, — весь в цветущих диких грушах, — в переливах света и тени, в могучих кронах дубов, вздымающихся над непролазными чащами молодых берез и лещины. В открытые окна врывается запах зелени и речной воды. Становится ясно, что где-то рядом есть вода, и действительно, через несколько километров появляются разливы тихого Хопра, застывшего у подножья живописного Борисоглебска с его шумящими тополями.

Здесь, в сталинградской степи, с особой наглядностью видна замечательная черта нашего времени, — содружество народов вызвало к жизни содружество природы. Украина дарит Поволжью дубравы, и Поволжье, конечно, не останется в долгу.

У молодых лесов есть свои враги. Прежде всего

бездождье и солонцы, о которых было сказано выше. С солонцами борются путем гипсования. Солонцы посыпают гипсом. Он превращает едкие соли, убивающие растительность, в соли нейтральные, безвредные для зеленого покрова степей.

Кроме солончаков и безводья, у молодых лесов есть еще один опасный враг — блоха, обыкновенная вульгарная блоха.

Конечно, блоха не грызет молодые растения. Дело обстоит несколько сложнее. В степях живет пушистый зверек — грызун тушканчик, похожий на маленького кенгуру. Это очень блошливый зверек. Чтобы избавиться от блох, тушканчик ищет в окаменелой степи землю помягче, роет в ней ямку и начинает кататься в этой ямке, вычесывая блох, — так же, как катаются лошади. А так как самая рыхлая земля в степи — на лесных полосах около молодых дубков, то тушканчики и выбрали эти полосы для своей блошиной войны.

Вырывая ямки, тушканчики обнажают корни дубов. Тогда на смену тушканчикам приходят суслики и грызут эти корни.

Когда мы ехали по степи вдоль лесных полос, вся дорога была усыпана отравленным овсом против сусликов и тушканчиков. Овес этот толь-

ко что был разбросан с самолета. Его высыпают преимущественно вдоль дорог.

Суслик — зверь сообразительный. Он селится по обочинам степных дорог, так как около дороги суслику жить безопаснее: проносящиеся машины отпугивают коршунов — самых страшных сусличьих врагов. Сам же суслик — существо нахальное и машин теперь не боится, — он к ним привык.

На Волго-Донском канале я видел сусликов рядом с работающими экскаваторами. Они сидели на задних лапах около своих нор и, подергивая усами, с любопытством смотрели на грохочущую машину, не подозревая, что через минуту она разрушит все их хозяйство.

Весь день наша машина мчалась вдоль лесных полос. Временами с возвышенностей они были видны во весь размах степи, от горизонта до горизонта, и были похожи на переливающуюся через увалы широкую реку молодой зелени среди серебристой полыни и степного бурьяна. Изредка ровная линия полос переходила в торжественный и плавный поворот, точно следуя гребню водораздела.

Хохлатые степные жаворонки цвета пыли взлетали из-под колес машины. Ветер стих. Кучевые

облака, розовые от заката, остановились и растаяли в небе. Впервые за весь этот знойный день от лесных полос потянуло едва заметной, нежной прохладой. Там, в листве дубов и акаций, уже накапливалась влага. Это было ее дыхание.

Когда первая звезда зажглась в сумрачном сиреневом небе и под землей затрещали кузнечики, мы подъехали к лесному участку.

Среди степей стоял уютный маленький дом-вагон на колесах. Такие дома зовут здесь «казенками». В этом доме жили работники лесной полосы.

Играло радио, и его голос разносился далеко по степи.

В доме было тесно, но очень чисто. Пахло хлебом и сухими травами. На дощатом столе лежали книги: Алексей Толстой, «В окопах Сталинграда» Некрасова, «Утраченные иллюзии» Бальзака.

В доме на колесах никого не было. Только на ступеньках приставной лестницы сидел белоголовый мальчик лет семи, чистил картошку, а шелуху бросал в простреленную немецкую каску, — собирал шелуху, чтобы накормить поросенка со странной кличкой «Нарзан». «Нарзан» терся, добродушно похрюкивая, о ступеньки лестницы.

— Где же все ваши? — спросил мальчика начальник участка.

— Влесу, — ответил мальчик и показал в степь, где медленно дотлевал широкий закат.

Я сел на ступеньки рядом с мальчиком, закурил. Звезды одна за другой зажигались над мглистой степью, далеко за краем земли небо заголубело от электрического зарева Сталинграда.

Скоро мы увидим эти степные леса во всей их свежести, великолепии и шуме подоблачных вершин. Увидим широчайшие разливы Сталинградского моря, цветение садов в бывшей пустыне, услышим мощные гудки морских пароходов и веский гул волжской воды, падающей через плотину серебряным пластом во всю ширину великой реки.

Сталинград, 1951

Могучая речная держава

Свыше ста тысяч рек протекает по необъятным просторам нашей страны — от торжественной Волги, многоводного Енисея и державной Невы до каких-нибудь тихих и прозрачных, заросших кувшинкой и водяной гречихой Мошки и Серебрянки.

Речная карта Советского Союза похожа на густую причудливую сеть. Если бы можно было расплести эту сеть в одну нитку, то она протянулась бы на два с половиной миллиона километров.

Русские реки вошли в историю и быт страны, в ее экономику и народную поэзию, в литературу и живопись. О них можно было бы написать много великолепных книг. И эти книги, конечно, будут написаны. Потому что именно сейчас реки призваны советским человеком стать его первыми помощниками в исполинском деле пересоздания природы.

В 1952 году будет открыт Волго-Донской канал. Сооружение его завершит тот «великий водный круговорот», о котором мечтали наши предки. Огромные сухопутные пространства страны получат выход в моря Белое, Балтийское, Каспий-

ское, Азовское и Черное и дальше во все моря и океаны мира. То, что еще вчера казалось фантастикой, утопией, дерзкой мечтой, сбывается на наших глазах.

Новые пресные озера-моря появляются на карте страны. Никогда еще географические карты не старели так быстро, как в наше время.

К Московскому и Рыбинскому морям в 1952 году прибавится Донское (Цимлянское) море. А когда будет закончено сооружение на Волге самого мощного в мире «каскада шести гидростанций», зашумят два новых моря — Жигулевское и Сталинградское.

Неизмеримо выросло значение труда речников. Если недавно речники выполняли только почетную и трудную работу по судовождению на наших реках, то сейчас они, кроме того, участвуют в строительстве гигантских гидросооружений.

Маленькие и скромные землесосы, углублявшие обычно речные перекаты, стали родоначальниками тех мощных землесосов, заменяющих труд десятков тысяч человек, что намыли Цимлянскую плотину на Дону длиной в тринадцать километров, а сейчас намывают Куйбышевскую плотину.

На сооружении этих исполинских, почти фан-

тастических по величине плотин тоже будут работать речники.

Этим летом на пристани в Сталинграде я слышал спор нескольких волжских капитанов — старых «речных волков». Говорили о том, кому выпадет счастье провести но каналу первый пароход.

Молодой матрос, слушавший издали, как и я, этот спор, подмигнул мне и сказал:

— Пусть они там говорят, что хотят, а я хоть на самом ничтожном катеришке, а пройду по каналу первым. Волноваться буду, понятно. И завидовать мне будут, конечно. Да и как не позавидовать? Ведь не каждому выпадает такая судьба.

Он был прав, этот молодой матрос. Мы завидуем тем, кто был участником событий исторических и неповторимых. Это хорошая зависть.

Завиден труд речников, и прежде всего потому, что их работа тесно связана с великолепной нашей природой.

Реки, рождая любовь к своим водам и оживленным берегам, вызывают тем самым привязанность ко всей стране.

Начала любви к Родине, нашей привязанности к ней коренятся и где-то там, в истоках великих рек, хотя бы в истоках Волги, где маленький ключ

бормочет в корнях березы и медленно вертит позлащенный осенью лист. И если мы отдаем даже каждому такому ключу частицу своей любви, то сколько же мы отдаем этой любви нашей стране во всей ее обширности и великолепии! Нет меры этому чувству.

Русские реки! Они величавы и спокойны, как красота русских женщин.

Друг Пушкина поэт Языков — волгарь из Симбирска — воспел русские реки в изумительных стихах. Воспел Волгу — властительницу вод, «обширных русских вод, простерших ход свой славный… между холмов и долов многоплодных до темных Каспия зыбей». Он писал о Тверце, «лелеющей тысячи судов», Оке — «поемистой, дубравной», о Суре, «красавице, задумчиво бродящей», Свияге «пажитной, игривой и бессонной» и, наконец, о Каме, «чей сильный бурный водобег, под криками орлов свои волны седые катя в кремнистых берегах, несет железо, лес и горы соляные на исполинских ладиях».

Пушкин впервые написал о Доне, что он не течет, а льется. В этом была удивительная, никогда не изменявшая поэту, точность определений. Волга, Северная Двина, Днепр, Обь — все большие русские реки именно текли. Они несли к морям

тяжелые воды. В широком движении этих рек была сила, настойчивость. А Дон лился легко, позванивая на перекатах, серебрясь от ветра вместе с листьями ракит. Облака медленно тонули, тускнея в его омутах. Песчаные косы, перемытые донской водой, были выбелены солнцем, как холсты, что раскладывали казачка по донским берегам.

Блеща среди полей широких,
Вот он льется! Здравствуй, Дон!!
От сынов твоих далеких
Я привез тебе поклон…

Недалеко то время, когда от гранитных набережных Москвы и от пристаней Ленинграда и Архангельска пароходы будут отваливать в прямые рейсы до далекого Ростова, а затем и до прибрежных городов Азовского и Черного морей.

Из сумрака белых ночей эти пароходы уйдут под черное, пылающее крупными звездами, южное небо. Пароходы как бы будут брать огромные разрезы Советской страны в пространстве. Десятки наречий будут слышны на их палубах. Десятки городов будут проплывать мимо пароходов, уходя в речные дали, — городов, овеянных древней и

новой славой, кипучих и живописных.

Пожалуй, не будет ничего более увлекательного и заманчивого, чем эти плавания. Особенно для нашей молодежи.

С тем большей силой мы будем любить их, эти реки, несущие свои светлые струи через великое разнообразие и живописные просторы страны, те реки, что дают нашей Отчизне энергию, свет, воду для орошения засушливых областей, где вскоре расцветут новые благословенные края.

1952

За красоту родной земли

Мы неопровержимо доказали свою смелость в создании новых форм жизни.

Мы создаем будущее сейчас, сегодня, а не только говорим о нем и представляем его в туманном отдалении.

Итак, разговор будет идти о борьбе за наше будущее, но в тесной связи с одним печальным явлением сегодняшней жизни, — безнадежным опустошением нашей удивительной в своей прелести русской природы. Нужно твердо остановить тех, кто, как сказал один старый колхозник, «в ширь и в край мордует русскую землю».

Мы караем за хулиганство, за убийство людей, но порой равнодушны к убийству природы, — той природы, что является величайшей силой в моральном и эстетическом развитии народа.

Русская литература, музыка, живопись, вся наша великолепная культура, наконец история — все это неразрывно срослось с красотой русской земли. Она наложила отпечаток на формирование характера нашего народа — великодушного и талантливого, простого и мужественного.

Нет для нашего сердца милее края, чем Россия,

чем ее свежие леса и перелески, поля и заливные луга, тихие реки, звон родников и светлые зори над росистыми зарослями…

Опустошитель земли — прежде всего явный хулиган, жестокий собственник по своей внутренней сути. В редком случае — это просто дурак.

Но прежде чем говорить об опустошителе, нужно сказать несколько слов о пособниках этого хищника и дикаря — о «прекраснодушных» людях, старающихся оправдать или не замечать это зло из-за боязни «вынести сор из избы».

Пусть сор гниет, пусть распространяет зловоние и миазмы, пусть грозит болезнями, — лишь бы не узнали и не осудили соседи, лишь бы все было «шито-крыто». Вся отталкивающая житейская философия мещанства выражена в этой поговорке, в этой заповеди труса и лицемера.

Как можно бороться за красоту родной земли, за ее процветание, если самые вопиющие факты, приведенные вами, будут вызывать наигранную недоверчивую усмешку и готовое возражение: «Ну, что вы! Не надо преувеличивать», или: «Ну и что из этого? Что же здесь особенного?»

Конечно, что особенного в том, что закон, запрещающий сводить леса по берегам рек, сплошь

да рядом нарушается при потворстве местных властей?

Что особенного в том, что из-за этого мелеют и иссякают реки, бесплодной становится земля, затягиваются илом водохранилища?

Что особенного в том, что леса вырубаются подчас хищнически и в большем количестве, чем об этом оповещают ведомственные отчеты?

Что особенного в том, что любое, даже маловажное учреждение, если дорвется до строительства, то строит на триста тысяч рублей, а пакостит вокруг землю на три миллиона?

Земля у нас принадлежит всему народу, она — общенародное достояние. Мы все — хозяева этой земли. Мы вправе поднять свой голос против опустошителей земли, ударить их по рукам.

Это — не преувеличение и не пустые слова. Недаром за последнее время редакции газет получают множество гневных писем по этому поводу со всех концов страны.

Достаточно даже наспех, нигде подолгу не задерживаясь, проехать по стране, чтобы убедиться, что есть немало мест, где точит землю, как шашель точит дерево, распоясавшийся опустошитель.

За примерами ходить недалеко.

Этим летом я приехал в Тарусу — тихий городок на Оке. За Тарусой давно установилась слава одного из самых живописных мест Средней России. Густые смешанные леса, горы, звонкие речушки, соловьиные рощи, широкие дали, Ока и множество прекрасных и неожиданных аспектов русской природы издавна привлекали в Тарусу художников. Таруса стала приютом многих мастеров нашей живописи. Здесь жили и работали Поленов и Борисов-Мусатов. Здесь работали и работают художники Крымов, Ватагин и многие другие.

Таруса стала для нас тем же, чем для развития французской живописи деревушка Барбизон. Таруса вошла в историю нашего искусства, как место плодотворного вдохновения.

Казалось бы, что красота здешней природы должна быть неприкосновенной. На деле же все обстоит иначе.

Леса по берегам Оки между Серпуховом и Тарусой вырублены. Оставлена, очевидно, только для вида, своего рода лесная ширма — узкая полоска деревьев, за которой сквозят пустоши. На протяжении двадцати с лишним километров между Серпуховом и Тарусой — перерытые и буквально поставленные дыбом берега Оки бе-

леют огромными мертвыми осыпями карьеров каменоломен.

Раньше камень здесь добывали закрытым способом — под землей. Но его легче брать открытым способом, взрывая толом и уродуя неповторимые по красоте окские берега и уничтожая последние остатки прибрежных лесов.

Кто возместит нам необратимую потерю прекрасного пейзажа, потерю красоты? Ее ведь не прикинешь на счетах и не занесешь в бухгалтерские балансы. Значение ее для живой души человеческой в тысячи раз больше, чем скрупулезная экономия.

Только люди, не помнящие своего духовного родства, люди, тупо равнодушные к культуре своей страны, к ее прошлому, настоящему и будущему, могут так безжалостно уничтожать ту высокую культурную ценность, что несут в себе природа, пейзаж и его красота.

В Тарусе — карьер против города, почти в городской черте, на мысе над Окой. Там был недавно чудесный сосновый лес. Леса этого нет и в помине. Весь день городок сотрясается от оглушительных взрывов. Дребезжат в домах стекла, трескается и осыпается штукатурка. Но покой горожан не стоит, конечно, внимания. Камень важнее.

Самое удивительное и неправдоподобное заключается в том, что этим делом занимается высокое учреждение, призванное охранять природу, — Академия наук СССР. Карьер находится в ведении подсобной организации при академии — «Центракадемстроя».

Если даже Академия наук приложила руку к обезображиванию нашей земли, то что говорить о некоторых других учреждениях и организациях…

Я много дал бы за то, чтобы узнать имя того администратора, который приказал вырубить начисто на дрова великолепные вековые березы. Ими была в конце XVIII века обсажена в четыре ряда вся дорога от Калуги до Тарусы. До сих пор жители Тарусы и окрестные колхозники почти со слезами говорят об этом безобразии.

Для высоковольтной линии, проходящей вблизи Тарусы, вырублена в лесах просека шире, чем Садовые улицы в Москве. Объясняется ли это необходимостью? Не знаю.

Но с точки зрения здравого смысла никакой надобности в такой широкой просеке нет…

Вот всего два-три факта, касающиеся даже не целого маленького района нашей страны, а только небольшой части этого района. Какой

же мартиролог уродования природы можно составить по всей стране! Сколько можно назвать рек и озер, где у всех на глазах глушат рыбу (уничтожая ради одной-двух крупных рыб тысячи мальков), травят ее ядами и ловят запрещенными способами. Рыбы становится все меньше — браконьер пронырлив и деятелен и проникает в самые глухие и заповедные углы.

Почти во всех случаях, когда мне приходилось сталкиваться с глушением рыбы, этим занимались представители местной власти, именно те люди, которым доверена охрана рыбных богатств.

Браконьерство, рубка деревьев, выламывание молодых посадок, уничтожение рыбы, отравление рек сточными водами фабрик и заводов, свинское загаживание природы, особенно пригородных парков, вытаптывание лугов — всему этому пора положить предел.

Природу надо заботливо охранять, мы же только делаем попытки, чтобы ее спасти.

Я думаю, нужен точный и строгий закон об охране земли, лесов, вод и самого воздуха нашей страны, ее животного и растительного мира, — закон о том, что всяческое уродование природы, уничтожение ее красоты и бессмысленное ее опу-

стошение приравниваются к государственному преступлению. Нужно воспитывать у молодежи любовь и уважение к природе. Нужно предавать огласке все случаи поругания природы. Нужно карать за них невзирая на лица.

Нужно всеобщее усилие к тому, чтобы оградить нашу природу от разорения и обезображивания. Красота земли должна быть одним из могучих факторов при воспитании нового человека. Наша природа должна расцвести для новых времен во всем своем блеске и великолепии.

1955

Прав старый лесничий

Года два назад в маленьком приморском ресторане ко мне подсел пожилой моряк, должно быть механик или боцман. Было душно. Ветер изредка пробегал по улице, поднимал занавески на окнах и наполнял ресторан запахом теплой весны.

— Жарища! — сказал моряк и вытер платком крепкую шею. — Даже земля жжет через подошвы, как шлак. Наши хлопцы радуются: нахолодились в Антарктиде. А вот я недоволен.

— Вы, должно быть, со «Славы»? — спросил я моряка.

— Да, со «Славы». Прямо скажу, боюсь я засухи, не выношу ее совершенно. Ненависть у меня к ней. А все через один случай.

Моряк рассказал мне этот случай. Сначала я не поверил ему. Рассказ его смахивал на горячечный вымысел. Потом, когда моряк показал в доказательство одну из газет, выходящих в Кейптауне, я поверил в его рассказ, но, признаться, содрогнулся от ужаса.

Южная Африка, по словам моряка, умирает. В ней сведены все леса, пересохли источники, выжжены засухой травянистые равнины. Эро-

зия съела плодородную почву и превратила ее в горячий мертвый прах. Реки обмелели, стали зловонными илистыми болотами и начали окончательно просыхать.

Слушая моряка, я вспомнил книгу французского ученого (к сожалению, я забыл его имя) под названием «Сохнущая Африка». Книга попалась мне лет шесть назад. В ней беспощадно и точно была описана агония великого континента, умирающего от жажды по вине алчных и невежественных колонизаторов.

По словам моряка, все эти беды сейчас усугубились еще и тем, что в Южной Африке два года подряд стояла засуха. Дожди, казалось, навсегда покинули эту землю.

И вот, когда «Слава» по пути из Антарктиды на Родину зашла в Кейптаун, и случилось то событие, о котором рассказал моряк.

Огромные стада диких слонов, доведенные жаждой до исступления, бросились в поисках воды на юг, к океану. По пути обезумевшие животные начисто сносили маленькие города, деревни и мосты. Население в страхе бежало от них.

Правительство Южно-Африканского Союза двинуло против слонов войска. Были посланы танковые и артиллерийские части и пехота. Бой

со слонами длился больше суток. Сотни четвероногих великанов были убиты, а остальные, отчаявшись прорваться к океану, повернули обратно.

Тогда по пути отступления слонов, обгоняя их, помчались автоцистерны с водой. Они лили воду во все ямы, бассейны, высохшие пруды и лужи. Слоны жадно пили воду, тут же падали и засыпали. Часть слонов была спасена.

Я начал разговор о сохранении природы и восстановлении стремительно редеющей растительности с этого страшного случая со слонами потому, что нигде, как в Африке, уничтожение природы не достигло таких ужасающих размеров. Но не только в Африке, а и во многих других странах, в том числе и в Северной Америке. Там в южных обезлесенных штатах из-за эрозии любой, даже не очень сильный ветер поднимает на воздух и уносит миллионы тонн плодородной земли.

Эрозия — размывание и выветривание почвы в тех местах, где ее структура нарушена уничтожением лесов и травяного покрова, — довольно быстро превращает нашу землю в пустыню.

Как победить эрозию? Как вернуть земле плодородие, свежесть лесов, полноводность рек — все

то, без чего человек не может жить, развиваться и создавать великие ценности?

Есть прекрасное правило. О нем писал Чехов, к нему и призывает «Комсомольская правда». Это правило говорит: каждый человек обязан посадить и вырастить за свою жизнь хотя бы одно дерево!

Одного дерева на человека, конечно, мало. И все же знакомый лесничий сказал мне однажды:

— Но и это было бы замечательно! Миллионы людей — миллионы новых деревьев.

Но еще замечательнее было бы, если бы человек не только посадил за свою жизнь хоть одно дерево, но к тому же не погубил зря ни одного дерева.

Мы губим гораздо больше деревьев, нежели сажаем. Губим по небрежности, невежеству, по равнодушию. Я уже не говорю о совершенно недопустимой перед лицом будущих поколений сплошной рубке лесов, особенно на склонах гор.

Мы слишком снисходительны к тем людям, которые в силу своего невежества уничтожают природу. О таких людях пишут, как о проказливых мальчиках, как о милых шалунах, которым взрослые укоризненно грозят пальцем. А эти «шалуны» сводят начисто лесные островки в

степях, отравляют реки. Иные из них строят на миллион, а опустошают вокруг землю на десять миллионов. И все это ради выгоды на копейку, которая при таком отношении к делу превращается в расточительность.

О патриотической и, если можно так выразиться, эстетической стороне отношения к природе у нас, к сожалению, говорят мало.

Мы любим свою страну кровной любовью не только за то, что она богата и благополучна. Мы любим ее и страдающую (война доказала это) и сирую, но полную великой красоты народного духа и красоты нашей русской природы. Нет в мире ничего равного этой природе по своей щемящей сердце силе, по лиричности, по ее бескрайности и умиротворяющей прелести.

Пожалуй, не стоит сейчас повторять ставшие азбучными истины о могучем влиянии природы на моральное формирование человека. Об этом давным-давно писали и пишут все лучшие люди, начиная от Пушкина и Чехова и кончая Пришвиным и Леонидом Леоновым. Но лучшие люди пишут, а природу не берегут — и все описания остаются втуне.

Сколько написано о варварском отношении к природе и к культурным памятникам, но насто-

ящего перелома в этом деле пока что не видно. Продолжается и опустошение лесов и уничтожение таких, к примеру, памятников культуры, как всемирно известное наше изумительное северное деревянное зодчество.

Нужен закон об охране природы. В Эстонской Республике такой закон уже действует. Он карает браконьеров и равнодушных людей, бездумно поднимающих руку на природу. Что мешает принять такой же закон в других республиках?

Нам нужны корабельные леса, полноводные реки, океаны целебного воздуха, сады, цветущие и сочные луга. Нам нужны обильные росы, прозрачные закаты, звонкие родники, птичьи стаи, тянущие в туманном небе над золотеющими осенними рощами, пересвист птиц, сияние ночных созвездий в бездымном небе и широкие яркие радуги — предвестницы солнца после дождей.

Нам нужна великолепная земля, единственный приемлемый приют для человеческой жизни и деятельности. Мы должны непримиримо бороться за такую землю, бороться со всеми, кто пытается изуродовать нашу страну и превратить ее по недомыслию или невежеству в сухой бесплодный пустырь.

1950

Городок на реке

Вообще, ошибочные мнения бывают обычно очень живучими. Они существуют сотни лет и с трудом выветриваются из нашего сознания.

До революции все маленькие города было принято считать захолустьем, где жизнь течет скудно и сонно. И теперь это представление о маленьких городах, так называемых «райцентрах», почти не изменилось. Считают, что они, конечно, далеко отстают от больших городов и по культуре, и по благоустройству.

Самое название «райгород» и «райцентр» дает богатую пищу для шутников и зубоскалов. Они называют их «райскими городами» и «райскими центрами» и острят по поводу того, что в этих городах мало признаков земного рая.

Все это — болтовня.

Я живу в одном таком маленьком городе на Оке. Он так мал, что все его улицы выходят или к реке с ее плавными и торжественными поворотами, или в поля, где ветер качает хлеба, или в леса, где по весне буйно цветет между берез и сосен черемуха.

Городок этот вплотную входит в сельскую

жизнь. Гул тракторов по окрестным полям сливается с пронзительными и требовательными гудками окских буксиров. Обширные огороды окружают городок буйной зеленью, цветением картошки, запахом помидорных листьев. С берега Оки во все стороны открываются сияющие дали, близкие и далекие планы лесов — от светлых и серебрящихся под солнцем до загадочных и темных, сохранивших в своей глубине журчание ручьев и шумящие кроны столетних дубов и сосен.

Но городок хорош не только этим. Он хорош своими людьми — талантливыми и неожиданными, трудолюбивыми и острыми на язык. Я просто перечислю нескольких жителей этого городка, и станет ясно, что слова о захолустье не выдерживают критики.

Если бы были живы такие писатели, как Лесков или Мельников-Печерский, то городок на Оке дал бы им богатую пищу для рассказов о простом и замечательном русском человеке.

Лесков написал как будто анекдотичный рассказ о тульском мастере Левше, который подковал блоху. Но это совсем не анекдот и не забавный случай. В каждом городке есть свои Левши. Есть они и в нашем.

Живет в нем слесарь Яков Степанович — изобретатель и поэт по душе. Он может сделать все, — как говорится, «и небо и землю». Из всякого металлического лома и утиля он собрал мотоцикл, изобрел машину для посадки деревьев в лесах и, между прочим, склепал проволокой сломанный зубной протез одному старичку. И тот носил его еще много лет. Потом, говорят, этот протез взяли в краевой музей как образец тончайшего мастерства.

Яков Степанович — человек до всего любопытный, вникающий в суть любого дела и неслыханно скромный.

Есть еще в нашем городке печник Митя — слабый здоровьем и насмешливый, кладущий печи по своему способу — виртуозно и быстро. Оказывается, в печном деле есть свои секреты, свои законы, и нет у Мити ни одной печи, похожей одна на другую.

Никто так точно, как он, не знает законов тяги и нагрева кирпичей, не знает всей сложности русской печи и всей практичности «унтермарка». Споры Мити с другими печниками, все его разговоры о печах слушаешь, как живописное исследование, иной раз — как поэму. По словам Мити, мастер без выдумки, без воображения есть

«фитюлька» и халтурщик.

Таких мастеров с воображением есть много в любой области. Человек сам создает вокруг своей работы поэтическое состояние. От этого работа спорится и просто сверкает в его руках.

Есть плотники, работающие топором с такой чистотой, что стук топора под их рукой звучит, как бравурный марш.

Есть столяр Николай Никитич — знаток птиц. Больше всего он любит делать скворечники и птичьи клетки. Каждая вещь, что выходит из его рук, — «игрушка». Его клетки — это просто птичьи дворцы с мезонинами, антресолями, балкончиками и верандами. В этих клетках, будь они немного побольше, хочется пожить и человеку. Они обточены, нарядны и воздушны.

Николай Никитич сам ловит птиц по веснам на так называемый «птичий клей» секретного состава. Он смазывает им ветки деревьев, и птицы просто прилипают к этим веткам без всякого вреда для себя.

Николай Никитич больше всего любит щеглов — разноцветных и нарядных птиц, похожих издали на порхающие цветы. Очевидно, от нарядности этой птицы и произошло слово «щеголеватый».

Голосам птиц Николай Никитич подражает, не имитируя их, а придумывая иной раз слова и целые фразы, которые лучше всего передают пенье и чириканье птиц. Так, чиж, по словам Николая Никитича, поет: «Пили кофе, пили ча-а-ай!», щегол кричит: «Стриглик, стриглик», а щур никак не может признаться своей подруге в любви и только заикается: «Влю-влю-влю-влив-влив».

В городке есть вышивальщицы, если можно так выразиться, с европейским именем. Их работа восхищала зрителей на разных выставках, особенно на Международной выставке в Брюсселе.

Вблизи Оки живут знатоки речного дела — промеров фарватера, постановки бакенов и буксировки барж при малой воде.

Да всех не перечислишь. Живет у нас бывший корабельный врач — быстрый и строгий старик, большой знаток музыки, обладатель богатой исторической библиотеки. Есть садовод, ухитрившийся вырастить в Срединной России субтропические деревья.

К городку этому давно тяготеют художники и писатели. В какой-то мере он уже становится литературным и художественным подмосковным центром. Хотя и небольшим, но все же центром.

Имена Поленова, Крымова, Борисова-Мусатова,

Ватагина, скульптора Матвеева тесно связаны с городком. На многих полотнах этих художников вы увидите самые трогательные уголки нашего городка.

В городок часто приезжают работать и подолгу живут в нем писатели и поэты, особенно молодые. Сплошь и рядом можно услышать из открытых окон, из садов и палисадников разговоры и споры о Пикассо или последней книге Каверина, о Сарьяне и пьесе Арбузова.

В этом городке жил незадолго до смерти замечательный наш поэт Заболоцкий. Он оставил несколько прекрасных стихотворений о городке, о ясности окружающей природы — очень русской, очень мягкой и очень разнообразной. Особенно хороши «Вечера на Оке».

В очарованье русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она
Открыта не для каждого и даже
Не каждому художнику видна.

. . . . . .

И лишь когда за темной чащей леса
Вечерний луч таинственно блеснет,
Обыденности плотная завеса

С ее красот мгновенно упадет.
Вздохнут леса, опущенные в воду,
И как бы сквозь прозрачное стекло,
Вся грудь реки приникнет к небосводу
И загорится влажно и светло.
. . . . . .
И чем ясней становятся детали
Предметов, расположенных вокруг,
Тем необъятней делаются дали
Речных лугов, затонов и излук.

Я не называю имени этого городка только потому, что такой городок не один в нашем Советском Союзе. Если приглядеться к любому городку и пожить в нем, то окажется, что он удивительно интересен, характерен, жизнь в нем разнообразна, в нем много культурных людей, и, кроме того, он кровно связан с историей страны. Тогда не будет и мысли о несколько обидном термине «захолустье».

Но если все-таки вам интересно, о каком городе я писал, то, пожалуй, я назову его. Это — Таруса. Та самая Таруса, что лежит где-то на краю калужской земли. Туда вы теперь можете доехать на автобусе или приплыть по Оке на новейшем

быстроходном катере…

Извините за этот беглый очерк. Но если за ним последует ряд очерков от жителей таких городков о своих людях и родных местах, то моя цель будет достигнута.

1961

Судьба маленького города

Письмо из Тарусы

Девять лет тому назад, в июне 1956 года, в «Правде» было напечатано мое «Письмо из Тарусы». Есть старое русское слово «слезница», иначе говоря, слезная жалоба. Иль, как грубо выражались наши предки, — «слезное завывание». Письмо из Тарусы было по существу таким «завыванием», слезной жалобой этого русского городка на свою неприютную судьбу. Он по уши завяз во всяческих неустройствах и сам, конечно, не мог из них выбраться. А между тем городок этот заслуживал хорошей и спокойной жизни. Не только по живописности своей, привлекающей к нему многих художников, но и по своим довольно богатым возможностям.

Обычно в блестящее будущее наших городков, лежащих на отлете от больших дорог, верят только наивные краеведы и некоторые плановые работники. Да и то скрепя сердце и тяжко вздыхая при мысли, сколько неожиданных препятствий лежит на пути развития этих городов, сколько людей, занятых важными делами, будут отмахи-

ваться от робких просьб какого-нибудь Боровска или Жиздры. А то, не ровен час, и накричат: куда вы, мол, лезете с суконным рылом в калашный ряд! Посторонитесь!

Да! Широко легла неизмеримая страна — Россия, ее глубокие до синевы пространства, ее вольный воздух, теплый от запаха клевера и старой соломы, ее дубовые леса и одинокие осокори, ее легко задумавшиеся реки.

Тихо на этих реках. Только изредка заскрипит ворот парома и какой-нибудь проезжий неуважительный человек посмеется над работягой-паромом и скажет, что вот, мол, кое-где еще осталось это нескладное сооружение времен Ивана Калиты.

Гром скорых поездов, их ветропролет как сказал некий поэт-новатор, гудки заводов и слитный гул больших городов — все это не мешает нашей земле стоять во всей ее прелести перед лицом неба и людей. Прелесть эту и богатство нашей земли надо тщательно оберегать. Достаточно вспомнить о недавних наших прозрачнейших, как алмаз, кристаллически чистых реках. Сейчас большинство из них после хорошего дождя превращается из-за эрозии берегов в потоки грязи и мути. Вспомнить о милых, струившихся среди

райских кущ и цветов водах, где серебром играла несметная рыба.

Сейчас многие из этих рек нестерпимо пахнут мертвым мазутом и другими отвратными запахами. Речную воду не защищают от грязи и не берегут.

Когда было напечатано «Письмо из Тарусы», вездесущие скептики только посмеивались. «Вы что ж, думаете, — говорили они, — правительству только и дела, что возиться с вашей застоялой Тарусой, чинить ее да латать? Жила она со времен удельной Руси без капитального ремонта, проживет ныне и с текущим ремонтом. Богато располагаете жить, тарусяне!»

И вдруг скептики осеклись. Оказывается, вопрос о благоустройстве Тарусы — одной из Золушек среди наших городов — обсуждался в Совете Министров РСФСР, и решено было Тарусе широко и быстро помочь. Помощь была оказана тотчас. А теперь я пишу эту маленькую статью, чтобы хоть несколько отчитаться от имени тарусян в проделанной ими работе.

В городке, где была вопиющая тесность, сейчас уже построено семь домов с жилой площадью в 2 000 квадратных метров. Пробурено две артезианские скважины, построена водонапорная

башня. Проведены по городу на четырнадцать километров водопроводные трубы. Родник, питавший Тарусу водой еще со времени Екатерины Второй, ушел на пенсию. В городе построена высоковольтная трансформаторная подстанция мощностью в 6–5 тысяч киловатт. Теперь и город и окрестные колхозы электрической энергией вполне обеспечены. Построена новая гостиница, расширены бани и — что особенно важно для Тарусы — построена асфальтовая дорога из Тарусы в Калугу (до сих пор ездили в областной центр Калугу с огромным крюком — через Серпухов и Малоярославец). Расширена больница, расширена знаменитая фабрика художественной вышивки. Строятся комбинат бытового обслуживания, книжный магазин, столовая, летние рестораны. Начинаются дальнейшие работы по благоустройству города.

Здесь перечислено далеко не все, что сделано и делается. Таруса закрепляет два новых своих лица — города художников и города отдыха. По левому берегу Оки будут построены пансионаты и летние лагеря. И отойдет в прошлое тот шуточный облик Тарусы, который дал ей, посмеиваясь, поэт Н. Заболоцкий:

Скучно жить в Тарусе

Девочке Марусе, –
Одни куры, одни гуси –
Господи Исусе!

О Тарусе уже написано несколько краеведческих книг. Их стоит прочесть, чтобы почувствовать своеобразный удельный вес этого города в числе прочих российских городов, чтобы увидеть лицо этого города художников и садоводов, города, соединяющего старую культуру с культурой нашего времени.

Недавно в Тарусе по инициативе местного общественного деятеля, бывшего актера Б. П. Аксенова открылась постоянная картинная галерея — богатый дар маленькому городку. Таруса начинает оправдывать свое прозвище: «Русский Барбизон». В книге записей для посетителей среди сотен записей колхозников, отдыхающих, студентов и школьников вдруг возникает запись французского искусствоведа, попавшего в Тарусу после Лувра и растроганного нежной и самоотверженной любовью здешних простых людей к живописи, к искусству.

Галерея создана из небольших частных коллекций, пожертвованных местными любителями и знатоками живописи. В частности, отборную

коллекцию русской и западноевропейской живописи подарил музею тарусский старожил, ученый-агроном Н. П. Ракицкий. Кроме того, галерея пополняется из запасов Третьяковской галереи и Художественного фонда.

Галерея внешне очень скромная, как бы застенчивая. Но когда входишь в ее маленькие залы с чисто вымытыми полами и особым, каким-то деревенским запахом стен, когда отблески солнца падают на полотно Пуссена или на удивительные кружева блонды XVIII века работы русских мастериц, когда узнаешь, что эти невесомые кружева плели в сырых подвалах, чтобы от сухости не рвалась их тончайшая нить, то все вокруг кажется удивительным.

Мне посчастливилось бывать во многих великолепных и даже как бы тяжких от этого великолепия музеях и галереях Европы — в Третьяковской и в Лувре, в Эрмитаже и в Британском музее, в Латеране и в Риме, в Дрезденской галерее и в новом музее Роттердама, но в своем Тарусском музее, где за окнами победно (неизвестно по какой причине) орут петухи, все как один меченные химическим карандашом, где за окнами уже зацветают липы, я всегда ощущаю светлую благодарность к тем людям, которые его собира-

ли по крохам. Благодарность к ним и гордость за них — скромнейших своих земляков.

Все это так, но нужно еще многое сделать. Очевидно, нужно выделить Тарусу в самостоятельный район, чтобы город не жил бедным родственником на иждивении Феразикова (нынешний районный центр для Тарусы) — поселка вполне унылого, которому тарусские дела «ни к чему».

Скоро по краю Тарусы пройдет газопровод. Местное население озабочено тем, чтобы обязательно был сделан ввод для газа. Очевидно, эта просьба будет выполнена. Надо замостить тарусские крутояры, так как ливни размывают улицы и превращают их в непроходимые овраги. Кроме того, по решению инстанций Таруса должна стать городом-курортом. Уже разработан план создания на берегах Оки пансионатов и лагерей. В Тарусе найдены целебные минеральные источники.

При условии самой жестокой защиты прекраснейшей местной природы от опустошения и калечения этот план полностью решает дальнейшую судьбу города и трудовое устройство его населения. Этот план дает городу реальное будущее, тогда как Таруса уже давно застыла на

распутье. Пример Тарусы — простой случай возрождения к жизни маленьких городов в глубине страны. Они почти всегда хороши, эти города, живописны, уютны, полны целебной тишины и покоя, так жизненно необходимого нам для работы.

Покой рождается в этих местах, а из него рождаются душевное здоровье, творческая сила и способность к милому, любимому труду. Будем же беречь этот город! Будем беречь такие скромные Тарусы и поможем им стать образцовыми городами отдыха нашего времени.

Забыл сделать одну существенную приписку. С такими делами, как благоустройство маленьких городов, связано одно — и очень веское — опасение. Как бы хороший порыв не оказался только порывом. Как бы город снова не стал скатываться в овраги неустройств и скудости. Порыв должен перейти в непрерывную заботу, в непрерывное усилие — тогда наступит тот расцвет благоустройства и градостроительства, о каком мы заботимся сейчас.

1965

Новая эра

Жизнь человечества делится на огромные промежутки времени, на соединения многих эпох. Но внезапно среди этого течения земного времени возникает нечто потрясающе новое, рождается то великое событие, с которого люди начинают счет нового времени на своей старой и все же доброй Земле.

12 апреля 1961 года возникла новая эра в жизни человечества. Простой русский человек с прекрасной фамилией майор Гагарин вернулся из космоса.

12 апреля 1961 года — день не только нашей чистой и благородной национальной гордости, но и гордости всего мыслящего человечества.

Нам не свойственно хвастовство, но очень свойственна сдержанная вера в своих людей, в гений русского народа и еще больше — в гений человечества. Эта вера теперь оправданна до конца, какие бы трудности еще ни ожидали нас на жизненном нашем пути.

Миллиарды сердец бьются сейчас напряженно и взволнованно. Все мысли прикованы сейчас к судьбе мужественного человека — за минуту до

этого его почти никто не знал.

Если простая поэзия мифа об Икаре, взлетевшем к солнцу на восковых крыльях и погибшего в сияющей небесной синеве, прошла через все века и дожила до наших дней во всей своей прелести и наивности, то полет Гагарина будет волновать людей, пока будет существовать наша Земля.

Сейчас я невольно вспомнил, как еще гимназистом бежал ранним киевским утром под прохладными цветущими каштанами на ипподром за городом, где был назначен первый в нашем сухопутном киевском мире полет авиатора Уточкина.

Я помню все: солнце, как бы омытое росой, доброе и спокойное лицо Уточкина в десяти метрах надо мной, и слезы, внезапно брызнувшие из глаз стоявшей вблизи меня молоденькой и красивой женщины. Это была очень любимая киевской молодежью актриса Пасхалова. Военный оркестр играл почему-то под сурдинку вальс «Дунайские волны».

И вот — невиданный скачок от этого идиллического полета до могучих воздушных кораблей, и, наконец, порыв, полет, уход в космос, в те пространства Вселенной, где человек соприкасается с вечностью. Наше поколение — счастливое.

Оно перенесло великие муки и победы и дожило до появления новой величайшей эры. Оно счастливо этим и счастливо еще и тем, что к его представлению о великолепии мира прибавилась еще одна черта — бесстрашный, спокойный, уверенный полет советского человека в космос.

Гагарин приземлился. Мы все счастливы, поздравляем его с величайшей мирной победой в истории Земли и желаем ему всех величайших благ, доступных человеку.

1961

Выходные данные

Константин Георгиевич Паустовский
РОДИНА
Рассказы, очерки и публицистика

Составитель Л. ЛЕВИЦКИЙ

Редактор Л. Алексеева
Художник Б. Лавров
Художественный редактор Б. Мокин
Тех. редактор В. Никифорова
Корректоры М. Доценко, Н. Попикова

Сдано в набор 26/VI-1972 г. Подписано к печати 11/X-1972 г. А09554.
Формат бум. 84X108/32. Бумага тип. № 1 Сыктывкарского бум. комбината.
Печ. л. 7,5. Усл. печ. л. 12,6. Уч. изд. л. 11,96.
Тираж 50 000 экз. Заказ № 458. Цена 62 коп.

Издательство «Современник» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4
Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпро-

ма Комитета по печати при Совете Министров РСФСР,

г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.